

Гилберт Кийт Честертон

Вечный Человек

Вечный Человек.....	1
Введение (план этой книги).....	3
Часть I: О существе, которое зовется человеком	8
Часть I, глава 1: Человек в пещере	8
Часть I, глава 2: Современные ученые и первобытный человек	17
Часть I, глава 3: Древность цивилизации	25
Часть I, глава 4: Бог и сравнительное изучение религий.....	39
Часть I, глава 5: Человек и мифы	49
Часть I, глава 6: Бесы и философы	58
Часть I, глава 7: Схватка богов и бесов	69
Часть I, глава 8: Конец света	77
Часть II: О Человеке, который зовется Христом.....	85
Часть II, глава 1: Бог в пещере	85
Часть II, глава 2: Загадки Евангелия	94
Часть II, глава 3: Самая странная повесть на свете	101
Часть II, глава 4: Свидетельство еретиков	109
Часть II, глава 5: Спасение от язычества.....	118
Часть II, глава 6: Пять смертей веры.....	128
Послесловие (краткое содержание этой книги)	134
Примечание:	139

Введение (план этой книги)

Чтобы увидеть свой дом, лучше всего остаться дома; но если это не удастся, обойдите весь свет и вернитесь домой. В одной из моих книг я поведал о таком путешествии. Теперь я хочу написать другую, которая (как все ненаписанные книги) лучше всего, что я писал до сих пор.

Однако мне кажется, что я так и не соберусь за нее приняться, и потому я воспользуюсь сейчас этим образом. На пологих склонах долин — быть может, тех самых, где выцарапаны древние белые лошади, — жил мальчик, которому очень хотелось найти могилу или статую великана. Однажды он отправился на поиски, отошел подальше и увидел, что собственный его огород, сверкающий на солнце, словно яркий, многоцветный щит, — часть необъятного тела. Он просто жил на груди великана, и не видел ее, так была она огромна и так близка.

Именно это, по-моему, происходит с каждым, кто думает сам за себя, и в этом — суть моей книги.

Другими словами, я хочу сказать, что лучше всего увидеть христианство изнутри; но если вы не можете, взгляните на него извне. Популярным хулителям христианства не удастся его так увидеть. Они, в полном смысле слова, топчутся на ничьей земле и не уверены даже в своих сомнениях. Нападают они не прямо, а как-то сбоку и бьют не по важным, а по случайным нашим свойствам — вспомните столь привычную ныне антиклерикальную болтовню.

Они обличают трусость священника, чью проповедь нельзя прервать, и говорят, что он окопался на кафедре, хотя не считают окопом редакцию газеты. Ни журналист, ни священник не заслужили обвинения в трусости, но журналисты все же больше заслужили этот упрек.

Священник показывается нам, мы можем его ударить, когда он вышел из церкви; журналист нередко скрывает даже свое имя. Нет конца статьям и письмам о том, что церкви пусты, но никто не потрудится зайти и посмотреть, пусты ли они или какие из них пусты.

Антиклерикалы и агностики провозвестили всеобщий мир; их, а не нас поразила (во всяком случае, должна была поразить) всеобщая война. Если церковь опозорена войной, ковчег опозорен потопом. Когда мир сбивается с пути, это лишь доказывает, что Церковь с пути не сбилась. Она оправдана не тем, что мы безгрешны, а тем, что мы грешны. Но так уж относятся теперь к церковному преданию — отрицают его, и все.

Хорошо, когда мальчик живет на земле своего отца; хорошо, если он отошел подальше и увидел свой дом. Но нынешние критики — ни там, ни сям. Они застряли в овраге, откуда не увидишь вершин. Они не могут стать христианами, не могут и забыть о христианстве. Вся суть их, все дело — в противлении, потому они так мрачны, несправедливы, придирчивы. Они томятся в тени веры, но утратили ее свет.

Конечно, лучше всего быть так близко от нашего духовного дома, чтобы его любить; но если вы не можете этого, отойдите от него подальше, иначе вы его возненавидите. Лучший судья христианству — христианин, но следующий за ним, скажем, последователь Конфуция. А вот хуже всего именно тот, кто особенно рад судить, — непросвещенный христианин, превращающийся в агностика.

Его втянуло в конец распри, начала которой он так и не понял, и он устал слушать о том, о чем и не слышал. Он не может судить о христианстве спокойно, как сторонник Конфуция, или как сам бы он судил о конфуцианстве. Он не может волей воображения перенести Церковь за тысячи миль, под странные небеса Востока, и судить о ней беспристрастно, как о пагоде.

Говорят, святому Франциску Ксаверию не удалось построить в тех краях церковь, вознесшуюся выше всех пагод, отчасти потому, что другие миссионеры утверждали, будто он и его помощники изображают апостолов в виде китайцев. Но гораздо лучше увидеть в них китайцев, чем безликих идолов или фигурки в тире, по которым может стрелять пустоголовый горожанин.

Лучше увидеть в христианстве чужой, азиатский культ, в митре епископа — странный убор бонзы, в посохе — извившийся змеей жезл, в четках — молитвенное колесо. Тогда мы хотя бы не разъяримся, как скептики, и не поглупеем, как они. Их нелюбовь к священству стала атмосферой, неоторимой атмосферой враждебности. По сравнению с ней было бы лучше увидеть Церковь на другом континенте или на другой планете.

Было бы мудрее спокойно взирать на бонз, чем раздраженно ворчать на епископов. Лучше пройти мимо церкви, как мимо пагоды, чем топтаться на пороге, не решаясь ни войти и помочь, ни уйти и забыть. Тем, кому не дает покоя отвращение к моей вере, я искренне советую увидеть в апостолах китайцев, другими словами, судить о христианских святых так же справедливо, как о языческих мудрецах.

Теперь мы подходим к самому главному. Я попытаюсь показать в этой книге, что если мы увидим Церковь извне, мы обнаружим, как она похожа на то, что говорят о ней изнутри. Когда мальчик отойдет далеко, он убедится, что великан очень велик. Когда мы увидим христианскую церковь под далеким небом, мы убедимся, что это — Церковь Христова.

Словом, как только мы станем беспристрастными, мы поймем, почему к ней относятся с таким пристрастием. Об этом стоит поговорить немного подробнее.

Я понял, что повесть о Боге неповторима, — и сразу вслед за этим понял, что неповторима и повесть о человеке, которая вела к ней. Христианство поражает, если честно сравнить его с другими религиями; точно так же поражает человек, если сравнить его с природой.

Самые современные ученые изощряются в софизмах, чтобы смягчить переход от животного к человеку и не менее резкий переход от язычества к христианству. Чем больше мы узнаем об этих переходах, тем резче и поразительней становятся они для нас. Ученые же не видят их именно потому, что пристрастны, потому, что не хотят видеть разницы между черным и белым.

Поддавшись досаде и протесту, они доказывают, что белое — грязновато, а черное — не так черно, как его малюют. Я отнюдь не хочу сказать, что для протеста нет причин; я не говорю, что позиция таких ученых непонятна и непростительна, я просто говорю, что она далека от научной объективности. Можно сказать, что иконоборец — в ярости, можно сказать, что он — в праведном гневе, но вряд ли можно сказать, что он беспристрастен.

Только из чистого лицемерия можно обвинить в беспристрастии абсолютное большинство поборников эволюции, разоблачителей христианства и авторитетов по сравнительному изучению религий. Да и как им быть беспристрастными, какое может быть беспристрастие, когда весь мир спорит не на жизнь, а на смерть о том, великая ли надежда ведет нас, или сбивает с толку глупое суеверие?

Я не собираюсь быть беспристрастным, но я постараюсь все же быть беспристрастней, чем они. Я постеснялся бы говорить о далай-ламе тот вздор, который они несут о папе римском, или ругать Юлиана Отступника, как они ругают иезуитов. Ученые не беспристрастны, они не соблюдают даже своих, ученых правил, особенно же пристрастны они, когда предпочитают быстрой перемене медленные, постепенные изменения.

Они видят повсюду, как сгущаются сумерки, ибо верят, что это сумерки богов. Не знаю, но посмею предположить, что они не видят того дневного света, в котором живут люди.

Я утверждаю, что на дневном свету совершенно единственны, ни с чем не схожи животное, которое зовется человеком, и Человек, который зовется Христом. Поэтому я разделил книгу на две части — о людях, пока они были язычниками, и о том, как изменились они, когда стали христианами. И для первой части, и для второй понадобился особый метод; применять его нелегко, еще труднее — определить и защитить.

Чтобы стать беспристрастным в здравом, единственно верном смысле слова, надо увидеть все заново. Мы видим честно, когда видим впервые. Вот почему, скажу мимоходом, детям совсем нетрудно принять церковные догматы. Но Церковь, столь успешно помогающая трудиться и бороться, рассчитана и на взрослых, не только на детей. Для пользы дела в ней есть и много привычного, есть традиция, даже рутина. Пока человек честно чувствует ее суть, это вреда не приносит.

Но когда он усомнится в самом главном, необходимо вернуть ему детскую простоту и детское удивление — тот реализм, ту объективность, которых нет без невинности. Попытаемся же сделать это, а если не сможем, попытаемся хотя бы, чтобы он увидел, как дико, как безумно то, что мы хотим ему показать. Все вправе быть простым и привычным, если это ведет к любви, но не к пренебрежению!

Как бы ни относиться к тому, о чем мы поведем речь, пренебрегать этим не стоит. Если вы пренебрегаете, если вы это презираете, вы — в заблуждении. Чтобы вы увидели все, как оно есть, надо пробудить самую дикую фантазию.

Это станет понятней, если я сошлюсь на что-нибудь — нет, на все то, что считают прекрасным или чудесным. Джордж Уиндэм рассказывал мне, что он видел, как поднимался один из первых аэропланов, и это было чудесно, хотя и не чудесней коня, который дал человеку сесть на себя верхом.

Кто-то сказал, что человек на коне — самое прекрасное зрелище в мире. Пока мы это чувствуем, все в порядке. Легче и лучше всего чувствовать это, если тебя научили любить животных. Мальчик, помнящий, как хорошо отец ездил на коне и как хорошо с конем обходился, знает, что конь и человек могут ладить.

Он возмутится, когда обидят лошадь, ибо знает, как надо с ней обращаться; но не удивится, что человек седлает ее. Он не станет слушать современных философов, которые скажут ему, что лошадь должна бы седлать человека; не поддастся безрадостному вымыслу Свифта и не поверит, что люди — это мерзкие обезьяны, а лошади — светлые боги.

Конь и человек, вместе, добры и мудры для него, и потому могут стать символом чего-то высшего, скажем святого Георгия. Сказка о крылатом коне его не удивит; и он поймет, почему у Ариосто христианские рыцари скачут по небесам.

Но если человек утратил удивление, его надо лечить, и совсем иначе. Предположим, что всадник на коне значит для него не больше, чем человек, сидящий на стуле. Красота, которую видел Уиндэм, — красота конной статуи, красота рыцаря — стала для него обыденной и скучной.

Он думает, что она была только модой, а теперь из моды вышла; а может, он просто устал от фальшивых ее восхвалений или от тяжкого ухода за лошадьми. Что бы ни было причиной, он ослеп и не увидит ни коня, ни всадника, пока они не покажутся ему совершенно незнакомыми, как если бы они явились с другой планеты.

Тогда из темного леса, на заре времен, к нам неуклюже и легко выйдет удивительнейшее создание, и мы увидим впервые непомерно маленькую голову на слишком длинной, слишком толстой шее, словно химера на трубе, и гриву, подобную бороде, выросшей не там где надо, и крепкие ноги с цельным, а не с раздвоенным копытом.

Существо это можно назвать чудищем, ибо таких на свете больше нет, но главное здесь — в ином: если мы увидим его, как видели первые люди, мы лучше поймем, как трудно им было его объездить. Пусть оно не понравится нам, но поразит — непременно; поразит и двуногий карлик, покоровивший его. Длинным кружным путем мы вернемся к чуду о коне и человеке, и оно, если то возможно, станет еще чудесней. Мы увидим святого Георгия, который еще отважней, ибо скачет на драконе.

Это просто пример, я не хочу сказать, что чудище первых людей реальней или лучше обычной кобылы в обычном стойле обычного человека, который не видит в ней ничего удивительного. Если уж выбирать, я выберу эту крайность, простой и здравый взгляд. Но истина — в этих крайностях, ее нет в туманном промежутке усталости, привычки, небрежения.

Лучше увидеть в лошади чудище, чем дешевый и медленный автомобиль. Тому, кто дошел до этого, полезно ее испугаться.

То же самое можно сказать и о чудище—человеке. Конечно, лучше всего видеть его так, как видит мое учение. Всякий христианин уверен, что христианское отношение к человеческой природе мудро и здраво. Но если мы его утратили, нам поможет только причудливое видение — странное, диковинное животное. Увидевший чудище в лошади восхитится удалью всадника; увидевший, сколь странен человек, удивится путям Господним.

Словом, мы поймем, что человек — не животное, если посмотрим на него как на животное. Все дороги ведут в Рим, к здоровью и мудрости можно прийти через страну сказок и нелепиц, хотя лучше бы и не покидать край Предания, где люди на конях — звероловы перед Господом.

Точно так же должны мы сбросить бремя привычности, когда речь идет о христианстве. Почти невозможно оживить то, что слишком знакомо, ибо мы, падшие люди, устаем, привыкая.

Если бы удалось поведать о Христе как о герое китайского мифа, именуя Его Сыном Солнца, а не Сыном Божиим и выложив его сияние из золотых нитей китайских вышивок или золотых китайских лаков, все поразились бы чистоте и высоте моей повести. Никто и слова не сказал бы о несправедливости предстательства или о нарушении законов природы.

Все восхищались бы тонкостью и глубиной тех, кто понял, что наше зло поистине вопиет к небу. Все восхищались бы сокровенной мудростью тех, кто знает, что законы мироздания выше известных нам законов, — верим же мы любому индийскому заклинателю, которому захотелось поговорить с нами в этом духе. Если бы христианство было новой восточной модой, никто бы не назвал его устаревшей восточной верой.

Я не собираюсь, как Франциск Ксаверий, одевать апостолов мандаринами. Я не собираюсь, хоть это полезно и занятно, пересказывать Евангелие и всю историю Церкви как языческий миф, ехидно замечая, что в этом-то случае ее оценят. Но я собираюсь, где смогу, подчеркнуть новизну и необычность, ибо даже такие серьезные вещи можно изображать странно и причудливо.

Я хочу, чтобы читатель посмотрел извне, издалека, со стороны, ибо тогда он увидит христианство на фоне истории и человечество на фоне природы — не смутными, как полотно импрессиониста, а четкими, как щит.

Словно белый лев в алом поле или алый крест — в зеленом сияет человек на зелени мира, Христос — на красной глине рода Адамова.

Часть I: О существе, которое зовется человеком

Часть I, глава 1:

Человек в пещере

Далеко, в странном созвездии, в беспредельно далеких небесах есть маленькая звезда, которую, быть может, еще откроют астрономы. Во всяком случае, судя по лицам и повадкам многих астрономов и вообще ученых, они ее не открыли, хотя и ходят по ней. Звезда эта порождает странные растения и странных животных. Поразительней же всего — сам ученый.

Так начал бы я историю Земли, если бы, следуя научной методе, решил исходить из Вселенной. Я попытался бы увидеть Землю извне не для того, чтобы определить, как далеко она от Солнца, а для того, чтобы понять, какова она для совершенно стороннего наблюдателя. Почему, изучая человечество, надо расчеловечиваться? Почему нужно преуменьшать наш мир, грубо принижая дух непомерностью расстояний?

Я мог бы показать Землю незнакомой звездой, чтобы увеличить ее значение, но не стану показывать ее маленькой звездочкой, чтобы ее значение уменьшить. Скорее уж я напому, что мы вообще не считаем ее небесным телом в том смысле, в каком считаем местом, и местом удивительным. Говорю об этом не ради астрономии, а ради много более близких вещей.

Одно из моих первых газетных приключений (или крушений) было таким: в небольшой рецензии на книгу Гранта Аллена «Эволюция идеи Бога» я заметил, что интересно бы прочитать Божью книгу «Эволюция идеи Гранта Аллена». Редактор вычеркнул эту фразу, убоившись кощунства, а я повеселился.

Смешно как-никак, что он и не заметил, сколь кощунственно заглавие книги. Ведь если перевести его на человеческий язык, выйдет примерно так: «Сейчас я покажу, как развивалась дурацкая мысль, будто есть Бог». Мой же вариант дышал благочестием — я признавал Промысел Божий в самых туманных, если не бессмысленных, явлениях. Тогда я научился многому, в частности я узнал, что степень правоверия агностики определяют на слух.

Редактор не увидел кощунства потому, что у Аллена главным было длинное слово; у меня же шло короткое, и оно его оскорбило. Теперь я знаю, что, если вы поместите в одну фразу слова «Бог» и, скажем, «дурак», сочетание этих недлинных слов сразит читателя, как выстрел. А говорите ли вы, что Бог создал дурака или что дурак создал Бога, — неважно, это уже пустые споры сверхпридирчивых богословов. Другое дело, если вы начнете со слова длинного, вроде «эволюции», дальше все пойдет как по маслу. Редактор — человек занятой, зачем ему читать до конца?

Это незначительное происшествие запечатлелось в моей душе, как притча. Современные истории человечества начинаются обычно с эволюции по той же самой причине. Есть в этом слове, даже в идее что-то неспешное и утешительное, хотя слово не очень удобно, идея — не слишком удачна.

Никто не может вообразить, как нечто развивается из ничего, и нам не станет легче, сколько бы мы ни объясняли, как одно «нечто» превращается в другое. Гораздо логичнее сказать: «В начале Бог сотворил небо и землю», даже если мы имеем в виду, что какая-то невообразимая сила начала какой-то невообразимый процесс. Ведь «Бог» по сути своей — имя тайны; никто и не думал, что человеку легче представить себе сотворение мира, чем сотворить мир.

Но почему-то считается, что если скажешь «эволюция», все станет ясно. Есть у этого слова роковая особенность: тем, кто его слышит, кажется, что они поняли и его, и все прочее; точно так же многие серьезно верят, что читали «Происхождение видов».

Ощущение плавности и постепенности завораживает нас, словно мы идем по очень пологому склону. Это — иллюзия; к тому же это противно логике. Событие не станет понятней, если его замедлить. Для тех, кто не верит в чудеса, медленное чудо ничуть не вероятнее быстрого.

Быть может, греческая колдунья мгновенно превращала мореходов в свиней; но если наш сосед моряк станет все больше походить на свинью, постепенно обретая копыта и хвостик закорючкой, мы не сочтем это естественным. Средневековые колдуны, быть может, могли взлететь с башни; но если пожилой господин станет прогуливаться по воздуху, мы потребуем объяснений. Однако рационалистам, исследующим былое, кажется, что вы станете проще, даже тайна исчезнет, если мы растянем дело творения. Примеры приведу позже; сейчас речь идет о ложном, но приятном ощущении, которое дает постепенность. Так, нервная старушка, впервые севшая в машину, боится меньше, если ее везут помедленней.

Уэллс признал себя пророком; и одно из его пророчеств пошло ему же во вред. Как ни странно, его первая утопия прекрасно отвечает на его последнюю книгу. Машина времени заранее опровергла удобные выводы, основанные на том, что время относительно. В этом дивном кошмаре герой видит, как зелеными ракетами взвиваются деревья, земля вспыхивает зеленым пламенем травы и солнце словно метеор проносится по небу. Однако все это не стало менее естественным; точно так же и то, о чем я говорил, не становится менее сверхъестественным, если возникает медленно.

Вопрос в том, почему это возникает вообще. Все, кому этот вопрос понятен, знают, что он — религиозный, на худой конец — философский или метафизический, и почти наверное не сочтут ответом простое замедление. Рассказ не меняется от того, с какой быстротой его рассказывают, и любую сцену в кино можно замедлить, по-иному вращая ручку.

Мы слишком сложны, чтобы думать о первобытном. Стараясь показать изначальную древность, я прошу читателя вместе со мной поупражняться в простоте. Под простотой я понимаю не глупость, а ясность — способность видеть жизнь, а не ученые слова.

Лучше ускорить машину времени и увидеть, как растет трава, взвиваются в небо деревья, если это поможет нам яснее, живее, четче понять, в чем дело. Мы действительно знаем, сами знаем, что вокруг растут трава и деревья, что странные создания держатся в воздухе, размахивая причудливыми веерами,

другие создания не гибнут под толщей воды, третьи ходят по земле на четвереньках, а самые странные из всех встали на дыбы.

Вот это — правда, перед ней и эволюция, и даже Солнечная система — просто теории. Я пишу об истории мира, а не философствую и потому отмечу только то, в чем согласны все философы: два великих скачка покрыты тайной — происхождение мира и происхождение жизни. Многие догадались, что есть и третья тайна, происхождение человека, что третий мост был перекинут над третьей бездной, когда появились разум и воля.

Возникновение человека — скорей революция, чем эволюция. Да, у нас есть позвоночник, как у рыб, птиц и млекопитающих, что бы этот факт ни значил. Но если мы сочтем человека животным, вставшим на задние лапы, все, что он делает, покажется нам таким диким, словно он встал на голову.

Чтобы начать историю человека, приведу один пример. Он покажет, что я имею в виду, когда говорю, что детство мира не поймешь без детской простоты. Покажет он и то, что я имею в виду, когда говорю: смесь популярной науки с журнальным жаргоном запутала сведения о главных, первых фактах, и мы не видим теперь, какие из них — главные. Наконец, он покажет, пусть на одном примере, что я думаю, когда говорю: надо видеть различия, придающие истории четкость, а не тонуть в общих словах о постепенности и единообразии.

Поистине, как сказал сам Уэллс, нам нужен краткий очерк истории — мы должны уточнить ее очертания. А у той истории, которую пишут сторонники эволюции, очертаний нет или, по слову мистера Манталлини, у них черт знает какие очертания. Главное же, пример этот покажет, что я думаю, когда говорю: чем больше мы тщимся увидеть в человеке животное, тем меньше человек на животное похож.

В наши дни книги и газеты наперебой описывают популярного героя, которого называют Пещерным Человеком. Видимо, все хорошо, даже лично с ним знакомы. Его психологию серьезно учитывают и враги, и авторы романов. Насколько я понял, он чаще всего бил жену и вообще, как говорят теперь, обращался с женщиной «без дураков». Не знаю, первобытные ли дневники или сообщения о разводах легли в основу таких воззрений.

Мало того, я никак не могу понять, почему, если фактов нет, надо считать наиболее вероятными именно эти поступки. Нам непрестанно толкуют, что человек тех времен то и дело размахивал дубинкой и, прежде чем уволочь даму, стучал ее по голове. Нет, не пойму, почему у столь грубого самца столь щепетильная самка!

Может быть, Пещерный Человек был истинным зверем, но отчего бы ему быть грубее самих зверей? Браки жирафов и ухаживания бегемотов обходятся без таких ужасов. Может быть, он был не лучше пещерного медведя — но юная медведица, воспетая детьми, не проявляет яростной тяги к безбрачию. Словом, семейная жизнь пещерных людей удивляет меня и при вере в эволюцию, и без этой веры. Во всяком случае, я хотел бы доказательств, но никак их не найду.

И вот что странно: мы знаем тысячи сравнительно ученых и сравнительно литературных сплетен о несчастном человеке, которого зовут Пещерным, но

никто и не упомянет о том, о чем мы вправе говорить. Туманный термин употребляют в двадцати туманных смыслах, но никак не подумают, что же он действительно нам сообщает.

Словом, в Пещерном Человеке интересно все, кроме одного: что же он делал в пещере. К счастью, мы кое-что об этом знаем. Знаем мы немного, доисторических свидетельств вообще мало, зато связано это с настоящим человеком и с его пещерой, а не с книжным человеком и с его дубинкой.

Мы лучше увидим правду, если рассмотрим, а не отбросим это реальное свидетельство. В пещере нашли не страшную дубинку, обогренную женской кровью, и не ряды треснутых, словно яйца, женских черепов. Она не оказалась тайной комнатой Синей Бороды. Она вообще никак не связана с модными фразами, мудрыми домыслами и литературными толками, которыми нас заморочили.

Если мы действительно хотим увидеть хоть в щелочку утро мира, лучше принять это открытие как сказку утренних стран. Много лучше рассказать о нем просто, как о золотом руне или о саде Гесперид, чтобы из тумана теорий выйти к чистым цветам и четким очертаниям зари. Старые сказители знали хотя бы, как рассказывать. Порой они лгали, но не лукавили, не подгоняли события под теории и философские системы, выдуманные через много столетий.

Хорошо, если бы нынешние ученые переняли слог древних путешественников, которые не знали длинных, неточных, безответственных, назойливых слов. Тогда мы определили бы, что знаем мы о Пещерном Человеке или хотя бы о пещере.

Пастырь и мальчик вошли в горное дупло и по проходу, под землей, проникли в потаенный горный лабиринт. Они проползали сквозь тесные трещины, ползли по туннелям, где пролез бы разве что крот, падали в норы, выбраться откуда не легче, чем выбраться из колодца, и много раз оказывались в могиле, не надеясь на воскресение.

Так бывает, когда исследуют пещеры, это обычно, но сейчас нам нужно рассказать об этом как о чем-то необычном и единственном. Например, символично и странно, что в потаенный мир первыми проникли священник и ребенок, воплощение древности и воплощение юности мира. Здесь мне важнее то, что воплощал мальчик.

Всякому, кто помнит детство, незачем говорить, что такое проникнуть под крышу корней и продвигаться вглубь, все глубже, пока не достигнешь того, что Уильям Моррис назвал корнями гор. Представьте, как маленький человек, одаренный простым реализмом, неотъемлемым от невинности, лезет и лезет все дальше не для того, чтобы что-то доказать в скучном журнальном споре, а для того, чтобы найти и увидеть.

Увидел он и нашел пещеру, далекую от дневного света как легендарная пещера Дом-Даниэль, лежавшая под морским дном. Когда каменная келья озарилась светом после многовековой ночи, на стенах ее оказались большие странные фигуры, и, следуя за линиями, мальчик и священник узнали руку человека.

То были изображения зверей, а рисовал их или писал не только человек, но и художник. Как ни первобытны они и ни просты, в них видна любовь к длинной линии, осторожной и причудливой, которую узнает всякий, кто хоть раз пытался рисовать. Глядя на нее, ни один художник не поддастся ученому.

Линия эта выражает ищущую, смелую, творческую душу того, кто не бежит от трудностей, а стремится к ним. Скажем, там есть олень, повернувший морду назад, к хвосту; все мы видели лошадь в этой позе, но мало кто из нынешних анималистов сумеет легко и точно ее нарисовать. По этой и многим другим деталям ясно, что художник смотрел на животных с интересом и, наверное, с удовольствием. В этом смысле он был и естествоиспытателем — естествоиспытателем естественным.

Нечего и говорить, даже мимоходом, что в этой пещере не было ничего, напоминающего о мрачных пещерах из газет, где грозно гудят отзвуки первобытности. Если можно судить о чем—либо по таким немногочисленным и древним следам, я назову ее пещерой человеческой и даже человеческой. Во всяком случае, эти следы не дают оснований делать Пещерного Человека эталоном бесчеловечности.

Когда автор сексуального романа пишет: «Красные искры заплясали в глазах Дагмара Даблдика, и он почувствовал, что в нем просыпается далекий пещерный предок», читатель будет разочарован, если Дагмар просто примется рисовать на стене коров. Когда психоаналитик говорит пациенту: «Вами движут подавленные инстинкты Пещерного Человека», он не имеет в виду тягу к рисованию или к мирным наблюдениям над травоядными.

Мы знаем точно, что первобытный человек занимался этими безобидными делами, но у нас нет ни малейшего свидетельства о том, что он проделывал приписываемые ему гадости. Пещерный Человек сенсаций — это просто миф или, вернее, недоразумение. В мифе, по крайней мере, есть поэтическая правда, а ценность этого недоразумения в том, что оно оправдывает весьма современную распущенность. Если мужчина хочет стукнуть женщину, лучше его просто назвать хамом, не приплетая к этому делу Пещерного Человека, о котором мы знаем только то, что рассказали нам несколько безобидных и очень хороших рисунков.

Попробуем же посмотреть на эти рисунки просто, как смотрит ребенок. Если ребенок был из паствы священника, можно предположить, что ему привили хоть какой-то здравый смысл — тот здравый смысл, который передается в виде традиции. Тогда он решит, что древний человек рисовал животных на скале по той же самой причине, по которой он сам пытается рисовать их на грифельной доске.

Человек рисовал оленя, как ребенок рисует лошадь, — потому что это интересно. Человек рисовал оленя с повернутой головой, как ребенок, закрыв глаза, рисует свинью, — потому что это трудно. Оба они — люди, братство людей объединяет их, и оно еще благородней, когда мост перекинут через пропасть веков, а не через пропасть сословий. Если бы мне сказали, что пещеру разрисовал святой Франциск из чистой пламенной любви к животным, я не смог бы это опровергнуть.

Одна моя знакомая предположила в шутку, что пещера была просто детским садиком, а цветных зверей рисовали для детей, как рисуют у нас слонов и жирафов. В этой шутке есть глубокий смысл. Рисунки даже не доказывают, что первобытные люди жили в пещерах; так, раскопав винный погреб в Бэлхеме (через много веков после того, как гнев людской или небесный уничтожит этот пригород), ученые не должны делать вывод, что люди среднего класса в эпоху Виктории жили под землей.

Пещера могла быть погребом, храмом, складом, убежищем, местом тайного собрания — она могла быть чем угодно. Но чем бы она ни была, дух пещерных рисунков ближе к детской, чем к атмосфере современной разнузданности и современного страха. Очень легко себе представить, что ребенку — современному ли, древнему ли — захочется погладить животных.

И жест этот предварит другую пещеру и другого Ребенка.

Представим себе, что ребенка воспитал не священник, а ученый, один из тех ученых, которые считают животных и человека разными ступенями эволюции. Чему научит его каменная книжка с картинками? Он залез под землю и нашел изображение оленя, сделанное человеком. Но как бы глубоко он ни залез, он не найдет изображения человека, сделанного оленем. Это кажется трюизмом, на самом деле это — потрясающая тайна.

Он может спуститься глубже глуби, найти утонувшие материки, далекие от нас, словно звезды, оказаться в сердце Земли, далеко от нас, словно невидимая сторона Луны; может увидеть в холодных ущельях или на каменных уступах иероглифы ископаемых, вымершие династии животной жизни, подобные разрозненным мирам, а не разным главам одного мира.

Он найдет страшные и странные чудища, целый лес диковинных карикатур на коготь или палец, но нигде не найдет он когтя или пальца, который начертил бы хоть одну осмысленную линию на песке. Ребенок и не надеется на это, как не надеется он, что кошка отомстит собаке свирепой карикатурой. Присущий детям здравый смысл не позволит ученому ребенку надеяться на такую находку. Наверное, ему покажется странным, что люди, столь далекие от него, ему близки, а животные, бродящие вокруг, так не похожи на него.

Такой самый простой урок дает нам пещера с картинками; только он слишком прост, чтобы его запомнить. Человек отличается от животного качественно, а не количественно, и вот доказательство: рассказ о том, что человек нарисовал обезьяну, покажется скучным и плоским; рассказ о том, как умнейшая из обезьян нарисовала человека, все примут за шутку. Искусство — подпись человеческая.

Этой простой истиной должен бы начаться рассказ о самом начале. Поборник эволюции смотрит на разрисованную пещеру и ничего не видит, ибо она слишком велика, ничего не смыслит, ибо она слишком проста. Из деталей рисунка он пытается сделать сомнительные выводы, ибо не может увидеть все как есть, целиком. Он смутно рассуждает о том, вера тогда была или одно суеверие; о том, кто правил племенем, какие приносились жертвы, и о многом еще.

В следующей главе я расскажу подробнее, как спорят теперь о первобытных истоках мыслей, особенно мыслей, связанных с верой. Здесь я использую пещеру как символ очень простой мысли: человек рисовал, звери — не рисовали. Если человек, изобразивший оленя, был животным, как олень, тем удивительней, что он мог сделать то, чего олень не мог. Если он — обыкновенный продукт биологического развития, как звери и птицы, тем непонятней, почему он жил не так, как они. Если он произошел естественным путем, он еще сверхъестественней.

Другими словами, всякая здравая история должна начинаться с существа, ни на что не похожего. Откуда оно взялось и откуда взялось все, что с ним связано, — решать не историкам, а богословам и философам. Мы знаем одно: человек отличался от всех других тварей, ибо творил сам. Тем ли способом или другим, в пещерной тьме природы возникло невиданное — сознание, подобное зеркалу.

Оно подобно зеркалу потому, что в нем отражается все прочее, и потому, что оно единственное на свете. Стол может быть круглее зеркала, а шкаф — шире, но только зеркало включает и стол, и шкаф. Человек — микрокосм, мера всех вещей, образ Божий. Только это можно узнать в пещере. Пришло время из нее выйти.

Человек — поистине странное существо; можно сказать, что он — странник и пришелец на Земле. Даже внешне он больше похож на пришельца, чем на порождение нашей Земли. Он не может спать в собственной шкуре, не может доверять собственным инстинктам. Он и волшебник, вооруженный чудесным орудием руки, и калека, вынужденный подпирать себя костылями мебели.

У его сознания те же сомнительные преимущества и те же странные ограничения. Только его сотрясает прекрасное безумие смеха, словно в очертаниях вещей он увидел отблеск тайны, неизвестной самому миру. Только он знает тайну стыда — чувствует потребность скрывать основные и естественные отправления своего тела, словно догадывается о присутствии чего-то высшего, чем он сам.

Мы можем хвалить его, можем ругать, как отступление от природы, но не можем обойти молчанием. Народ всегда знал это чутьем, пока в дело не вмешались умники, особенно те, которые призывают к «простой жизни». Неестественно видеть в человеке естественное порождение природы. Это нездорово. Это грех против света, против дневного света меры, основы всего сущего. Чтобы видеть так, приходится произвольно отобрать нужные черты — самые низменные, совсем не важные — и забыть о других.

Целый же, истинный человек ни на что не похож. И чем больше его свойств мы видим, тем поразительней он становится. Попробуем представить себе, что нечеловеческое или даже безликое сознание, знакомое с природой и ее путями, пытается заглянуть вперед. Что скажет ему о грядущем появлении человека?

Первые люди покажутся ему не одним из сотни стад, нашедшим самое лучшее пастбище, и не одной ласточкой из ста, делающей весну. Они покажутся существами другого масштаба, нет, другого измерения, может быть, другого

мира. Птицы вьют гнезда, но это еще сильнее подчеркивает, как отличаются от них люди.

Если бы птицы просто ничего не делали, мы могли бы счесть их мыслителями квиетистского или буддийского толка, безразличными ко всему, кроме размышлений. Но они строят, они довольны своими постройками, они щебечут от радости; и мы знаем, что между ними и нами — стена, невидимая, как стекло, о которое бьется птица.

Представим себе, что некая птица вздумала строить, как человек. Попробуем представить, что она выбирает рогатые палочки и острые листья, чтобы выразить пронзительное благочестие готики, но обращается к широким листьям и темной глине, когда в мрачную минуту строит тяжелый храм Ваалу и Астарте, или превращает гнездо в висячий сад Семирамиды.

Представьте, что она лепит маленькие статуи птичек, отличившихся в поэзии или политике, и прикрепляет их к краю гнезда. Представьте, что одна из тысяч птиц делает то, что делал человек в глубокой древности, и, честное слово, она не покажется вам продуктом естественного отбора и развития.

Такая птица расскажет авгурам не о будущем, а о прошлом; она сообщит, что в мир явилось сознание с новым измерением, глубиной. Кто, кроме Бога, мог это предвидеть? Нет и тени свидетельств, что это выработалось путем эволюции. Нет никаких доказательств, что переход произошел плавно и естественно. Говоря со всей строгостью науки, мы просто не знаем, как это возникло и что это такое.

Быть может, прерывистый след из камня и костей кое-что сообщает нам о развитии человеческого тела. Ничто не рассказывает нам о становлении души. Вот ее нет, вот она есть, и мы не знаем, в какую секунду или в какие бесчисленно долгие годы она возникла.

Что-то случилось вне времени, тем самым вне истории в общепринятом смысле слова. Историк должен принять это как должное — не его дело это объяснять. Не поможет ему и биолог. Стыдиться тут нечего. Ведь это реальность, данность, а история и биология привыкли иметь дело с фактами.

Никто не осудит ученого, если он, увидев крылатую свинью, признает ее существование. Точно так же он вправе признать, что человек — чудище, потому что человек — это факт. Пусть живет спокойно в диком, несуразном мире или в мире, который породил столь дикое и несуразное существо, — ведь на реальность можно положиться, даже если ее не понимаешь.

Так уж оно есть, и для большинства из нас этого достаточно. Но если нам все же захочется узнать, как человек сюда попал, если мы хотим связать его со всем остальным, если мы действительно хотим увидеть, как он отделился от близкой ему среды, — нам придется обратиться совсем в другие инстанции.

Нам придется расшевелить странные воспоминания и вернуться к очень простым грезам, если мы хотим, чтобы он не казался нам выродком животного мира. Чтобы найти ему причину, мы коснемся совсем других причин и воззовем к другим авторитетам, чтобы он стал понятным или хотя бы вероятным.

На этом пути нас ожидают страшные, знакомые, забытые истины, грозные лица, пламенный меч. Примите человека без объяснений, если вы можете притерпеться к необъясненному факту. Считайте его животным, если вы в состоянии ужиться с мифическим животным. Но если вы хотите связать концы с концами, вам придется поверить в нарастание чудес, возвещающих его появление под громами небесные и музыку сфер.

Только тогда человек станет для нас естественным существом.

Часть I, глава 2: Современные ученые и первобытный человек

Не многие замечают, как мало знают ученые о доисторических временах. Чудеса науки непрестанно восхищают нас; но они возможны лишь потому, что фактов все больше. Когда речь идет об открытиях или изобретениях, доказательство - это опыт.

Но никакой опыт не поможет создать человека или увидеть, как он был создан. Изобретатель может понемногу создавать аэроплан, даже если он складывает цифры на бумаге или куски металла у себя во дворе. Когда он ошибется, аэроплан его поправит, свалившись на землю. Но если ошибется антрополог, рассуждающий о том, как наш предок жил на деревьях, предок, ему в поучение, с дерева не упадет. Нельзя взять к себе первобытного человека, как берут кошку, и смотреть, ест ли он себе подобных и умыкает ли подругу. Нельзя держать первобытное племя, как держат свору собак, и смотреть, насколько развиты племенные инстинкты.

Словом, когда занимаешься прошлым, надо полагаться не на опыт, а на свидетельства. Однако свидетельств так мало, что они не свидетельствуют почти ни о чем. Почти все науки движутся по кривой, их непрестанно поправляют факты; наука же о первобытных взлетает ввысь по прямой, ибо ее ничто не поправляет.

Но ученые так привыкли делать выводы, что и здесь они придерживаются привычки, оправдавшей себя в других, более плодоносных краях. О гипотезе, сложенной из кусков кости, они говорят, как об аэроплане, сложенном из кусков металла. Дивная, победоносная машина возникла после сотни ошибок. Ученый, занимающийся первобытностью, может спокойно услаждаться первой же своей ошибкой и дальше не идти.

Мы справедливо говорим о долготерпении науки, но здесь справедливее говорить о ее нетерпении. Благодаря описанной трудности ученый слишком спешит. Гипотезы множатся столь быстро, что их лучше назвать выдумками, а никаким фактом их не поправишь. Самый честный антрополог не может знать больше антиквария. У него есть лишь обломки прошлого, и он может только держать их так же крепко, как держал его дальний предок обломок кремня.

Причина у них одна и та же - это их единственное орудие, единственное оружие. Антрополог нередко потрясает им гораздо яростней, чем ученый, который может собрать и приумножить факты. Порой он становится почти таким же опасным, как собака, вцепившаяся в кость. Собака хотя бы не высасывает из кости теорий, доказывающих, что люди ни к собакам не годятся.

Как я заметил, нелегко завести обезьяну и смотреть, превратится ли она в человека. Опыта поставить нельзя; казалось бы, тогда скажи, что такое превращение вероятно. Но ученому этого мало - он добывает свою кость или кучку костей и высасывает поистине удивительные вещи. Например, он нашел на Яве часть черепа, судя по форме, поменьше, чем у человека, а неподалеку - человеческую голень и нечеловеческие зубы. Если все это принадлежит одному

и тому же существу (что не доказано), нам не так уж легко его себе представить. Но популярная наука легко и быстро создала законченнейший образ.

Мы говорим о питекантропе, словно он обычный исторический деятель, вроде Питта или Фокса, или Наполеона. В популярных книгах об истории мы видим его портреты рядом с портретами Карла I или Георга IV. Все приметы его перечислены, все волоски сочтены, и, если мы ничего о нем не знаем, мы никогда не подумаем, что перед нами только часть черепа, голень и зубы. О нраве его говорят так, словно прекрасно с ним знакомы.

Недавно я читал в одном журнале, что нынешние, белые яванцы живут не слишком праведно, а виной тому - несчастный питекантроп. Охотно верю, что они так живут, но не думаю, что все дело в тлетворном влиянии нескольких костей. Как бы то ни было, костей слишком мало, чтобы заполнить пропасть между нами, людьми, и предком нашим, животным. Я ни в коей мере не отрицаю, что мы с ним связаны; я просто удивляюсь тому, как мало свидетельств нашей связи.

Честный Дарвин это признал; потому и говорим мы о "недостающем звене". Но догматичным дарвинистам не по душе такой агностицизм, и термин этот, по сути своей отрицающий, стал положительным, как портрет. О повадках и виде "недостающего звена" толкуют все, хотя это не разумней, чем толковать о чертах пробела или прорехи.

В этом очерке я пишу об истории и религии человека и потому не буду строить догадок о том, каким он был до того, как стал человеком. Возможно, тело его развивалось из тела животного, но мы не знаем фактов, бросающих свет на происхождение его души. Мы ничего не знаем о доисторических людях по той простой причине, что в их время еще не было истории. Выражения типа "история доистории" разрешаются только рационалистам.

Если бы священник упомянул о допотопном потопе, его непременно обвинили бы в некоторой нелогичности. Но кто обратит внимание на такие пустяки, читая ученые статьи современных скептиков? Тем не менее слова "история доистории" - совсем не точный научный термин. Они значат просто, что сохранились следы человеческой жизни от того времени, когда человек еще не начал говорить о себе.

Человеческая цивилизация старше человеческих воспоминаний. Люди оставляли образцы искусств раньше, чем занялись искусством письма, - во всяком случае, такого письма, которое мы можем прочесть. Человек не оставил рассказа о своей охоте, и потому все, что мы можем о нем сказать, будет гипотезой, а не историей. Тем не менее рисовал он хорошо, и нет оснований сомневаться, что рассказ его был бы хорошим. Ничем не доказано, что период, не завещавший нам письменных источников, был груб и примитивен. Если люди не писали связных рассказов, это не значит, что они не знали искусств и ремесел.

Очень может быть, что на свете сменили друг друга многие забытые цивилизации и было много неведомых нам форм варварства. И какие-то из этих забытых и полузабытых культур были гораздо сложнее, гораздо тоньше, чем принято думать сейчас. Конечно, о ненаписанной истории человечества надо

гадать очень осторожно. Как это ни прискорбно, осторожность и сомнение не в чести у современных поборников эволюции. Наша странная культура не выносит неведения. С тех пор как появилось слово "агностик", мы ни за что не хотим признать, что чего-то не знаем.

Однако наше невежество с успехом искупается наглостью. Наши утверждения так безапелляционны, что ни у кого не хватает духа к ним присмотреться; вот почему никто до сих пор не заметил, что они ни на чем не основаны. Еще недавно ученые доверительно сообщали нам, что первобытные люди ходили голыми.

Ни один читатель из сотни, наверное, не спросил себя, откуда мы знаем, что носили люди, от которых осталось несколько костей. Они могли носить простые и даже сложные одежды, от которых не осталось следа. Плетения из трав, к примеру, могли делаться все искуснее, не становясь от этого прочнее. Если в будущем откопают развалины наших заводов, с таким же успехом могут сказать, что мы не знали ничего, кроме железа, и обнаружат открытие: фабрикант и управляющий ходили голыми или в железных шляпах и железных брюках.

Я и не думаю доказывать, что первобытные люди носили одежду. Я просто хочу сказать, что мы не вправе судить об этом. Мы не знаем, украшали они себя или нет. Зато мы знаем, что они украшали пещеры. Если они что-то плели или вышивали, плетения не сохранились и вышивки сохраниться не могли. Но они рисовали; и рисунки сохранились. Вместе с ними сохранилось свидетельство о единственных в мире свойствах, присущих человеку и никому другому.

Мы не можем сказать, что обезьяна рисует плохо, а человек - хорошо. Обезьяна вообще не рисует, она и не собирается, не думает рисовать. Первая линия рисунка перерезала историю мира.

Один известный писатель говорит, что у наскальных изображений нет религиозной функции, откуда, по-видимому, следует, что у пещерных людей не было религии. Мне кажется, нельзя судить о глубочайших движениях души по тому, что кто-то рисовал на скале с неизвестной нам целью. Может быть, легче изобразить оленя, чем религию; может быть, олень - религиозный символ; может быть, символ изображен где-нибудь еще; может быть, символ этот намеренно уничтожали. Словом, могли случиться тысячи вещей.

Но, что бы ни случилось, логика не позволяет сделать вывод, что у первобытных людей не было религиозных символов или, если их и впрямь не было, что тогда не было религии. Однако именно этот случай показывает, как шатки такие домыслы. Немного позже отыскивали не только рисунки, но и какие-то дырочки, по-видимому следы стрел, которые и сочли доказательством особой, симпатической магии; рисунки же без дырочек послужили доказательством другого магического действия, призванного приумножать поголовье скота.

Не смешно ли хотя бы немного, что наука так успешно служит и нашим, и вашим? Если рисунок попорчен, это докажет одну гипотезу, если цел - другую. И выводы очень уж поспешны - можно было бы предположить, что охотники, окопавшиеся на зиму в пещере, просто развлекались стрельбой из лука. Можно

предположить еще многое; но скажите, как же быть с утверждением, что первобытные люди не знали веры? Все эти догадки висят в пустоте. Ими зимой не развлечешься.

В конце концов, и в наших пещерах можно найти надписи. Правда, наука не признает их древними, но время сделает свое дело, и, если ученые не изменятся, они смогут вывести немало занимательного из того, что нашли в пещерах давнего, XX века.

Например: 1) поскольку буквы нацарапаны тупым лезвием, в нашем веке не было резца, а тем самым и скульптуры; 2) поскольку буквы заглавные и печатные, у нас не было скорописи и малых букв; 3) поскольку складывались они в непроизносимые сочетания, наш язык был сродни галльскому, а еще вероятнее - семитским, не изображавшим гласных на письме; 4) поскольку нет причин полагать, что надписи эти - религиозный символ, наша цивилизация не знала религии.

Последнее ближе всего к истине; религиозная цивилизация была бы хоть немного разумней.

Кроме того, принято утверждать, что религия возникала очень медленно, постепенно и породила ее совокупность нескольких случайных причин. Чаще всего причины приводят следующие: страх перед вождем племени (тем самым, которого Уэллс с прискорбной фамильярностью зовет Стариком), сны и священные обряды, связанные с воскресением зерна.

Я совсем не уверен, что можно сводить живое и единое явление к трем мертвым и не связанным. Представьте себе, что в одной из увлекательных утопий Уэллса описано неведомое нам чувство, сильное, как первая любовь, за которое люди умирают, как умирали за родину. Мне кажется, мы пришли бы в замешательство, узнав, что оно сложилось из привычки к курению, роста налогов и радости автомобилиста, превысившего дозволенную скорость.

Мы не сможем связать эти три явления и вообразить чувство, связывающее их. Ничуть не легче связать воедино жатву, сны и вождя. Если они и были чем-то связаны, то именно чувством священного. Я думаю, здравый смысл подскажет, что существовало какое-то мистическое чутье и лишь благодаря ему сны, вожди и посева могли показаться тогда мистическими, как, впрочем, и теперь.

По правде говоря, это все та же привычная уловка: дабы что-либо показалось далеким и обесчеловеченным, мы притворяемся, что не понимаем самых простых вещей. Можно сказать, к примеру, что у первобытных бытовала уродливая привычка широко открывать рот и засовывать туда питательные вещества или что жуткие троглодиты попеременно поднимали ноги, чтобы передвигаться. Конечно, если вы хотите, чтобы читатель проснулся и заново увидел чудо еды или ходьбы, вы имеете право на такую выдумку. Но не пишите так, чтобы он заснул и не увидел чудо веры!

Кто не считает сны таинственными и не чувствует, что они лежат на темном краю бытия? Кто не ощущает, что смерть и воскресение растений близки к тайне мироздания? Кому не кажутся хотя бы немного священными духовная

власть и единение, душа человеческих сообществ? Если все это кажется антропологу чуждым и далеким, могу только сказать, что он несравненно ограниченнее первобытного человека. Для меня ясно, что только мистическое восприятие мира могло пропитать святостью эти разрозненные с виду явления.

Тот, кто говорит, что религия произошла от почитания вождя или земледельческих обрядов, ставит высокоусовершенствованную телегу впереди всем знакомой лошади. С таким же успехом можно сказать, что поэзия возникла из обычаев приветствовать наступление весны и вставать на заре, чтобы послушать жаворонка. Действительно, многие молодые люди ударяются в поэзию весной, и никакая смертная сила не может удержать их от воспевания жаворонка. Но только определенный вид сознания почувствует поэзию жаворонка и весны.

Точно так же определенный вид сознания ощутит мистику сна и смерти. Сознание это - человеческое, оно существует по сей день, мистики до сих пор рассуждают о снах и смерти, поэты пишут о весне. Нет никаких оснований полагать, что кому-нибудь, кроме человека, ведома хотя бы одна из этих ассоциаций.

Корова не проявляет склонности к стихам, хотя слушает жаворонка много чаще, чем поэт. Овца нередко присутствует при смерти себе подобных, но ни в какой мере не поклоняется предкам. Весною многим животным приходит мысль о любви - но не о поэзии. Собака видит сны, но религия столь же чужда ей, как психоанализ. Словом, по какой-то причине естественный опыт животных и даже естественные их чувства не помогают им преступить черту, отделяющую их от творческих проявлений, которые мы называем поэзией и религией, - не помогают и, вероятно, не помогут.

Вполне возможно, то есть не противоречит логике, что мы встретим корову, которая постится по пятницам или становится на колени, как вол в легенде о Рождестве. Быть может, насмотревшись смертей, она сложит скорбный псалом: быть может, она выразит в торжественном танце надежду на загробную жизнь. Быть может, навидавшись снов, собака построит храм Керберу, как строят храм Троице; быть может, она поклонится Созвездию Пса.

Трудно доказать, что то или иное невероятно; однако чутье, называемое здравым смыслом, подсказывает, что животные ничего этого не сделают, хотя и весна, и смерть, и даже сны знакомы им не меньше, чем нам. Остается предположить, что такие события не порождают и тени религиозного чувства ни в каком сознании, кроме нашего. Снова мы пришли к тому же самому: возникло новое, небывалое сознание, которое могло создать веру, как создало рисунок.

Материалы для религии лежали мертвым грузом, но только человек сумел найти в них загадки, намеки и надежды, которые находит до сих пор. Он не просто видел сны - он грезил о снах. Он не просто видел мертвых - он видел тень смерти и знал тот таинственный обман зрения, благодаря которому нам кажется, что мы не можем умереть.

Само собой разумеется, что все это я говорю только о человеке. Мы не вправе сказать ни этого, ни чего-нибудь другого о промежуточном существе,

соединяющем человека с животными, именно потому, что оно - не существо, а предположение. Мы не вправе утверждать, что питекантроп поклонялся чему бы то ни было; ведь он - видение, мост через пропасть, зияющую между несомненными людьми и несомненной обезьяной. Его сложили из кусочков, потому что он нужен определенной философии.

Если обезьяночеловек действительно жил на свете, религия его могла быть сложной, как у человека, или простой, как у обезьяны. Он мог быть чем угодно, от мистика до мифа. Даже самые крайние поборники эволюции не пытаются возвести религию к нему. Даже те, кто во что бы то ни стало хотят доказать грубое и глупое происхождение веры, начинают свои доказательства с бесспорных людей.

А доказательства эти говорят все о том же: бесспорные люди уже были мистиками. Они использовали грубый и глупый опыт, как только человек и мистик может использовать его. И снова мы отброшены к простой истине: в какое-то время, очень давно, произошла перемена, о которой не могут рассказать ни кости, ни камни, и человек стал душою живою.

Те, кто хотят объяснить происхождение религии, на самом деле хотят его отменить. Им кажется, что все станет проще, если провести длинную, почти невидимую линию. Они берут совершенно разные вещи - скудные свидетельства о происхождении человека и явное, видимое всем человечество - и стараются увидеть их так, чтобы они слились воедино. Но это обман зрения.

Люди связаны с обезьяной или с "недостающим звеном" не так, как связаны они с людьми. Между ними могли быть промежуточные существа, чьи останки находят то там, то тут. Существа эти могли быть кем-то, кто очень отличался от людей, или людьми, очень отличавшимися от нас. Но о людях, называемых пещерными, этого не скажешь.

Мы знаем о них мало; но все, что мы знаем, говорит нам, что они на нас похожи. Мы просто мало знаем о них, они оставили мало свидетельств; но судя даже по тому, что осталось, они такие же обычные, нормальные люди, как и обитатели средневекового замка или греческого города. Глядя с нашей, человеческой точки зрения, мы узнаем в них людей.

Если бы мы, взглянув со стороны, увидели в них животных, пришлось бы признать, что одно животное сошло с ума. Если же мы смотрим на них изнутри, правильно, чутье подсказывает нам, что они не безумцы, а нормальные люди. Мы узнаем члена человеческого братства, где бы мы его ни увидели, - в иностранце, в дикаре, в историческом герое. Например, древнейшие легенды и все, что нам известно о дикарях, свидетельствует о нравственной и даже мистической идее, чей простейший символ - одежда.

Поистине, одежда - облачение; человек носит ее, потому что он - жрец. В отличие от животных, он не может ходить голым хотя бы потому, что умрет от холода. Однако люди прикрывают тело даже в теплых краях - из стыда, или ради достоинства, или ради красоты. Иногда кажется, что красоту одежды оценили раньше, чем пользу; почти всегда кажется, что одежда связана с пристойностью.

Условности - разные в разных местах и разных веках, поэтому многие думают, что можно от них отмахнуться. Нам удивленно твердят, что стыд - это фикция, ибо многие дикари одеваются не так, как мы. С таким же успехом можно сказать, что нет на свете ни дождя, ни лысины, ни солнечных ударов, ибо шляпы бывают разных и очень странных фасонов. Люди чувствовали повсюду и всегда, что надо защитить или спрятать хоть что-то от глумления или грубости; и обычаи эти, какими бы они ни были, служили достоинству, помогали почитать друг друга.

В той или иной степени они связаны с отношениями полов, но это свидетельствует лишь о двух очень важных, изначальных фактах. Прежде всего, первородный грех поистине первороден. Во что бы ни вер или люди, они всегда ощущали, что с человечеством что-то неладно. Ощущение греха не давало им ходить голыми, как не давало жить без законов.

Особенно сильно проявляется оно в установлении, которое можно назвать отцом и матерью законов, ибо основано оно на союзе матери и отца; в установлении, которое старше царств, а может быть, и всех человеческих сообществ.

Я говорю о семье. Здесь мы снова должны четко различать великое и здоровое установление сквозь все его виды и варианты, словно гору сквозь облака. Очень может быть, что семье в нашем смысле слова пришлось бороться с многими заблуждениями и беззакониями. Но она победила их; и вполне возможно, уже была, когда их еще не было.

У нас нет оснований думать, что форма не существовала прежде бесформенности. Форма важнее, существеннее бесформенности; материал, называемый человечеством, снова и снова возвращается к ней. Вспомним, например, поразительный обычай, известный под именем кувады, и нам покажется, что мы попали в сказочное царство нелепицы. По этому обычаю с отцом обращаются как с только что родившей матерью.

Конечно, это свидетельствует о мистическом восприятии половой жизни, но можно предположить и большее: многие утверждают, что этим обрядом отец берет на себя всю ответственность отцовства. Если это так, смешнейший обычай необычайно значим и торжественен, ибо на нем стоит все, что мы зовем семьей, и все, что мы считаем человеческим обществом.

Те, кто копается во тьме начала, говорят иногда, что людьми когда-то правили женщины. Другие думают, что это была просто нравственная анархия и род вели по женской линии потому, что отец был неизвестен и никакой ответственности не нес. Потом в один прекрасный день мужчина решил охранять и воспитывать своих детей; и первый глава семьи - не столько хам с дубиной, сколько порядочный человек, отвечающий за свои действия.

Если все было именно так, придется признать, что только тогда человек повел себя по-человечески, тем самым впервые стал истинным человеком. А может быть, матриархат, или беззаконие, или что еще были одним из бесчисленных наваждений, которые мы видели и в исторические времена. Тогда кувада - просто знак, символ торжества над ересью. Мы не знаем в точности, что было тогда, зато мы знаем, что из этого вышло.

Мы можем сказать, что семья - основа сообществ, клеточка их тела. С ней связаны все святыни, которые отличают человека от муравьев и пчел. Пристойность - полог ее шатра, свобода - ее ограда, собственность - ее усадьба, честь - ее знамя. На протяжении всей истории мы видим отца, мать, ребенка. Я уже говорил, что, если я не могу сослаться на догматы веры, я буду апеллировать к морали и философии, иначе не напишешь мало-мальски связной истории.

Если я не смогу воззвать к Пресвятой Троице, я воззову к троице земной - к треугольнику, испещряющему века. Самое важное, что было в мире, - тоже треугольник, только обновленный и перевернутый. Точнее, два эти треугольника вместе страшнее для злых сил, чем таинственная пентаграмма. Человеческая семья - отец, мать, ребенок. Святое семейство - Ребенок, Мать и Отец.

Все то же, и все иначе; так остается прежним и становится новым преображенный мир.

Часть I, глава 3: Древность цивилизации

Современный человек, обращающий взор к самым древним истокам, подобен путнику, который ждет рассвета в незнакомой стране, — ему кажется, что на фоне зари выступают голые утесы или одинокие вершины. Но из ночи встают темные громады городов, древних и огромных, как жилища великанов, где каменные звери — выше пальмы, статуи — в десять раз выше человека, гробницы поднимаются к звездам, а бородатые, крылатые быки стерегут ворота храмов.

Заря истории занимается над высокой, по всей вероятности, старой цивилизацией. Это говорит о многом, и в первую очередь о том, как нелепы наши представления о доисторических, предрассветных эпохах. Первые сведения, которые можно считать достоверными и достаточными, говорят нам о Вавилоне и Египте. Случилось так, что именно эти могучие цивилизации древности свидетельствуют против распространенных предрассудков современности. Если мы хотим освободиться хотя бы от половины модной чепухи о кочевниках, пещерах и Лесных Стариках, присмотримся внимательно к Египту и Вавилону.

Конечно, почти все мы, рассуждая о первобытном человеке, в действительности имеем в виду современного дикаря. Мы исповедуем прогресс и эволюцию, признавая, что немалая часть человечества не меняется вообще. Но даже если я признаю, что цивилизованный человек внезапно понесся вперед, я не пойму, почему человек нецивилизованный застыл на месте, словно его заколдовали. Мне кажется, дело обстоит проще.

Современные дикари не могут быть точно такими же, как первобытные люди, хотя бы потому, что они не первобытны. Что-нибудь да случилось с ними, как и с нами, за тысячи лет существования. Что-нибудь они да испытали, каким-нибудь влиянием да подверглись, даже если это и не пошло им на пользу. Что-что, а среда у них была, и мы вправе предположить, что они приспособивались к ней, как требует этикет эволюции. Может быть, опыт их мал и среда неувлекательна, но, даже если ничего и не происходит, просто течет время, само однообразие действует на нас.

Многие достойные доверия ученые подозревают, что дикари знали более высокую цивилизацию. Те, кому это кажется невыносимым, по-видимому, плохо представляют себе, как легко от цивилизации отвыкнуть. Да поможет им небо — я очень боюсь, как бы они не узнали об этом на собственном опыте! Они с удовольствием расписывают сходство первых людей и современных людоедов; но все люди, по той или иной причине вынужденные обходиться без так называемых благ цивилизации, во многом похожи.

Если мы лишимся нашего оружия, мы станем делать лук и стрелы. Говорят, русские во время своего великого отступления дрались дубинами. Однако будущий ученый ошибется, предположив, что русская армия 1916 года была ордой диких скифов. С таким же успехом можно сказать, что старик и младенец совершенно одинаковы. И младенец, и старик — лысые; и младенец, и старик

ходят плохо. Но если вы решите, что старик вот-вот ляжет на спину и засучит ногами, вас ждет разочарование.

Точно так же первенец рода человеческого вряд ли был подобен во всем самым консервативным его представителям. В чем-то, скорее всего во многом, они совсем непохожи. Возьмем, к примеру, происхождение и природу власти. Я уже говорил о пресловутом Старике, с которым так близко знаком Уэллс. Если мы посмотрим, что же действительно известно о первобытном вожде, мы сможем простить прекрасного писателя, лишь предположив, что он забыл, историю он пишет или фантастический роман. Никак не пойму, откуда он знает, что вождя называли именно так или что никому не разрешалось трогать его копьё и сидеть на его месте.

Навряд ли археологи нашли копьё с табличкой «Не трогать» или пышный престол с надписью: «Только для Старика». Навряд ли писатель и выдумывал; по-видимому, он честно положился на сомнительную параллель между первобытным человеком и современным дикарем. Быть может, в каких-то диких племенах не разрешают прикасаться к копьё или сиденью вождя и даже зовут его Стариком. Быть может, они взирают на вождя с суеверным страхом, и житейский опыт подсказывает мне, что он — истинный деспот. Но нет никаких сведений о том, что первая земная власть была деспотией. Можно допустить и это — она могла быть чем угодно, ее вообще могло не быть; но обычаи некоторых племен в XX веке ни в коей мере ничего не доказывают.

Зато мы знаем из истории, что деспотия появляется в развитых, иногда — высокоразвитых, очень часто — в разлагающихся обществах, начавшихся с демократии. Деспотию почти можно определить словами «усталая демократия». Появляется она тогда, когда общество уже не способно к непрерывному бдению, по праву названному ценою свободы, и предпочитает, чтобы один страж стерег спящий город. Конечно, иногда деспот нужен для быстрых, насильственных перемен; иногда он сам берет власть, так нередко бывало на Востоке. Но я не понимаю, почему султан должен появиться раньше всех других персонажей истории.

Сила, основанная на оружии, нуждается хотя бы в том, чтобы это оружие было исключительным, а такое оружие появляется не сразу. Один человек может убить двадцать из винтовки; менее вероятно, что он перебьет их кремнем. Что до модных толков о Сильнейшем, это просто сказка об одноруком великане. Двадцать человек — и в древности, и теперь — скрутят самого сильного из сильных. Конечно, может случиться, что они не тронут его, потому что ему поклоняются; но это совсем другое чувство — романтическое и даже мистическое, как поклонение Мудрейшему или Чистейшей.

Жестокости и самодурству способствует другой дух, дух сложившегося, устоявшегося, нет, разложившегося и застоявшегося общества. Как и следует из его прозвища, Старик — правитель утративших молодость.

Много вероятней, что первобытное общество было близко к истинной демократии. Даже сейчас относительно простые сельские общины очень демократичны. Демократия всегда прорывается сквозь хитросплетения цивилизации. Можно сказать, если хотите, что демократия — враг цивилизации;

но помните, что многие выберут демократию хотя бы потому, что не любят хитросплетений.

Как бы то ни было, крестьяне, возделывающие собственную землю и выбирающие власть прямо под деревом, ближе всех к настоящему самоуправлению. Вполне вероятно, что такая простая мысль пришла в голову и самым простым, первым людям. Даже если люди для нас — не люди, непонятно, почему бы им начинать с деспотии. Даже если вы — поборник эволюции и самый завзятый материалист, у вас нет причин считать, что первые люди не знали товарищества, известного мышам и воронам. Конечно, у них были вожаки, как у всякого стада; но это не значит, что у них была та бессмысленная, раблепная угодливость, какую приписывают подданным Старика.

Наверное, там был кто-то, соответствующий, как сказал Теннисон, «многолетней вороне, ведущей домой свою голосистую стаю». Однако если бы почтенная птица увлеклась подражанием султану, то стая не дала бы ей прожить слишком много лет. Чтобы стать вожаком даже у животных и птиц, мало одной силы; нужно еще что-то, будь то привычность, которую люди зовут традицией, или опыт, который люди зовут мудростью. Не знаю, летят ли вороны за самой старой, но уверен, что они не летят за самой наглой. Зато я знаю другое: быть может, из почтения к старости дикари и слушаются самого старшего, но они не поклоняются самому сильному, ибо не так чувствительны, раблепны и слабы, как мы.

Повторю еще раз; о первобытной власти, как и о первобытной вере и о первобытном искусстве, мы не знаем почти ничего, только строим догадки. Но предположить, что первобытные люди были демократичны, как балканские или пиренейские крестьяне, ничуть не смелее, чем приписать им самодурство турецкого султана. И горная деревушка, и восточный дворец современны, они существуют и сейчас; но дворец напоминает скорее о конце и разложении, деревня — о начале и естественности.

Вообще же я ничего не берусь утверждать, я просто разрешаю себе усомниться в современных утверждениях. Сами наши современники успешно отыскивают в прошлом демократию, когда нужно подкрепить притязания расы, нации или философии. Социалисты доказывают, что их идеал некогда был реальностью. Иудеи гордятся справедливостью ветхозаветных времен. Германofilы кичатся зачатками парламента, суда присяжных и многих других установлений у древних германцев. Кельтофилы (как и враги кельтов) ссылаются на то, что в кланах были и равенство, и справедливость.

В каждой из этих теорий есть та или иная доля истины; и я подозреваю, что какое-то народовластие не было чуждо древним, простым сообществам. Каждая из упомянутых школ допускает это, чтобы доказать то, что ему сейчас нужно, но все они вместе принимают, что в древности царили не только жестокость и страх.

Как бы то ни было, занавес поднимается в самый разгар игры. Очень трудно представить себе, что была история до истории; но ничего бессмысленного здесь нет. Очень может быть, что эта история похожа на известную нам и отличается от нее только тем, что мы ее не знаем. Таким образом, она прямо

противоположна многозначительной «доистории», чьи сторонники смело проводят прямую от амебы к антропоиду и от антропоида к агностику и дают нам понять, что мы знаем все о весьма непохожих на нас существах.

На самом же деле, вероятно, доисторические люди были очень похожи на нас, но мы ничего о них не знаем. Другими словами, самые древние источники свидетельствуют о временах, когда люди долго были людьми, мало того, долго были людьми цивилизованными. Источники эти не только упоминают — они принимают как должное царей, жрецов, вельмож, народные собрания. Мы не знаем, что было в мире до этого. Но то немногое, что мы знаем, удивительно похоже на то, что происходит сейчас.

Я думаю, мы не погрешим против логики или здравого смысла, если предположим, что в те неведомые века республики сменялись монархиями, монархии — республиками, мировые империи росли и распадались на маленькие страны, народы попадали в рабство и отвоевывали свободу. Мы найдем в доистории все то, что может быть, а может и не быть прогрессом, но уж точно похоже на приключенческий роман. К сожалению, первые главы вырваны и мы никогда их не прочтем.

Точно так же мы вправе предположить, что в доисторические времена варварство и цивилизация существовали бок о бок; что тогда, как и сейчас, были цивилизованные общества, были и дикари. Считается, что все прошли через кочевничество, но точно мы знаем, что некоторые так из него и не вышли, и можем предположить, что некоторые в него не входили. Вполне вероятно, что с древнейших времен оседлый земледelec и кочевник-пастух отличались друг от друга, а хронологическая их расстановка — просто симптом того помешательства на прогрессе, которому мы обязаны многими заблуждениями. Предполагают, что все прошли через первобытный коммунизм, когда частной собственности не знали; но свидетельства — лишь в отсутствии свидетельств.

Собственность перераспределяли, вводили новые законы, законы эти вообще бывали разными, но вера в то, что когда-то собственности не было, столь же сомнительна, как вера в то, что когда-нибудь ее не будет. Интересна она лишь одним: даже самые смелые замыслы будущего нуждаются в авторитете прошлого и революционер просто вынужден стать реакционером. Занятная параллель — так называемый феминизм. Вопреки лженаучным сплетням об умыкании женщин, все больше говорят о том, что в первобытности правили именно женщины, видимо пещерные дамы с дубинкой. Это не более чем догадки, и постигает их странная судьба всех нынешних домислов и предрассудков.

Во всяком случае, это не история, об этом нет прямых свидетельств, когда же доходит до них, мы видим, что цивилизация и варварство живут бок о бок. Иногда цивилизация поглощает варваров, иногда сама сползает к варварству и всегда содержит все то, что в более грубом, простом виде содержит варварство: власть, авторитет, искусства (особенно изобразительные), тайны и запреты (особенно связанные с полом) и какую-нибудь разновидность того, что я пытаюсь описать в этой книге, и все мы называем религией.

Египет и Вавилон, два древних чудища, могут служить нам прекрасной моделью. То, что мы знаем о них, противоречит двум основным нашим

предрассудкам. История Египта как бы нарочно придумана, чтобы доказать, что люди не начинают с деспотии по своей дикости, а кончают ею, приходят к ней, когда достаточно искушены или (что почти то же самое) опустошены. А история Вавилона показывает нам, что совсем не обязательно быть кочевником или членом коммуны, чтобы потом стать крестьянином или горожанином. Кирпичи Вавилона понятней, чем дольмены, животные иероглифов понятней наскальных оленей.

Ученый, расшифровавший мили иероглифов или клинописи, может поддаться искушению и прочесть слишком много между строк. Даже истинные авторитеты легко забывают, как обрывочны с трудом завоеванные сведения. Но все же — историю, а не доисторию, факты, а не домыслы дают нам именно Египет и Вавилон; и среди фактов этих — две истины, о которых я сейчас говорил.

Египет — зеленая лента вдоль реки, уходящая в багровую неприютность пустыни. Давно, еще в древности, говорили, что он обязан своим происхождением таинственной щедрости и свирепой милости Нила. Первые известные нам египтяне живут цепочкой вдоль берега, и звенья этой цепочки — маленькие общины, связанные между собою. Там, где река разветвлялась в широкое устье, жили несколько иначе, но это не должно заслонять главного. Более или менее независимые, хотя и связанные друг с другом общины, видимо, были достаточно развиты. Они знали что-то вроде геральдики, использовали изображения как общественный символ, каждая плавала по реке под своим знаком — зверем или птицей. Геральдика же предполагает две очень важные вещи, те самые, которые в совокупности зовутся благородным именем «сотрудничество»; те самые, без которых нет крестьян и нет свободных людей.

Искусство геральдики говорит о независимости — человек или община вольны выбрать для себя символ. Наука геральдики говорит о взаимной зависимости — люди и общины согласны признавать чужие символы. Здесь, в Египте, мы застаем согласие и сотрудничество свободных семейств, самый естественный образ жизни, который появляется всюду, где человек живет на собственной земле. При одном упоминании о птице или звере знаток мифологии, как во сне, откликнется: «Тотем».

Мне кажется, в том и беда, что мы вспоминаем о тотеме автоматически, словно во сне. В моем поверхностном очерке я настойчиво, хотя и не совсем успешно пытаюсь рассматривать вещи изнутри; идти, где только могу, от мысли, а не от термина. Стоит ли рассуждать о тотеме, если нам неясно, что именно чувствует человек, у которого есть тотем? Ну хорошо, у них тотемы были, а у нас нет; но значит ли это, что они больше любили животных или больше боялись? Если же любили, то как? Как дядюшка Римус брата Волка, или как Франциск брата своего волка, или как Маугли своих братьев волков? Что ближе к тотему — британский лев или британский бульдог? А если боялись, на что был этот страх похож — на детский ночной страх или на страх Божий?

Ни одна самая научная книга не ответила мне. Но к этому я еще вернусь. Сейчас же повторю: ранние египетские общины признавали чужие изображения животных, и это помогало им сотрудничать друг с другом. Видимо, общались они и в доистории, ибо с началом истории мы застаем это общение в полном

разгаре. Именно поэтому понадобилось прибрежным общинам единое правление, росла власть правителя и все дальше падала его тень.

Не меньшей и, по-видимому, более древней властью пользовались жрецы; по всей вероятности, они были теснее связаны с ритуальными знаками, способствующими общению. Именно здесь, в Египте, может быть, впервые возникло то великое искусство, благодаря которому история отличается от доистории, — первые буквы, древнейшее письмо.

Занимательные романы о древних могли бы стать занимательней. На них пала тень преувеличенной мрачности, намного превосходящей естественную печаль язычества. Причина этому — тот тайный пессимизм, благодаря которому первые люди кажутся тварью дрожащей, чье тело — комок грязи, душа — сгусток страха. Наши поступки и мысли определяет вера, особенно когда мы ни во что не верим. Именно потому все первоначальное и простое представляется нам дурным.

Книги о древности кишат вымышленными сценами из жизни ассирийцев или египтян, застывших и размалеванных, словно их изображения. Но авторы этих книг не попытались представить, каково было впервые увидеть то, что стало для нас привычным. Они не видят человека, который узнает огонь, как ребенок открывает фейерверк; не видят человека, который играет колесом, как мальчишка, смастеривший телеграф. Они не пытаются вдохнуть дух юности в свои рассказы о юности мира, и потому, конечно, у них нет шуток. А очень и очень возможно, что великое искусство письма началось именно с шуток.

Многим будет тяжело узнать, что оно началось с каламбура. Фараон, или жрец, или вельможа этой необычайно длинной и узкой страны хотел послать восточку вверх по реке, и ему пришлось в голову нарисовать письмо-картинку, как у индейцев. Подобно многим любителям ребусов, он обнаружил, что не все можно нарисовать. Когда, скажем, слово «налог» звучало, как слово «свинья», он смело рисовал свинью и радовался плохому каламбуру. Я думаю, на первых порах было очень весело и рисовать, и разгадывать такие послания.

Если никак нельзя не писать романов о Древнем Египте (видимо, ни мольбы, ни слезы, ни брань от этого не удержат), я хотел бы прочитать в них о том, что древние египтяне — тоже люди. Пусть кто-нибудь напишет, как великий правитель сидит в кругу жрецов и все они покатываются со смеху, а фараоновы шуточки становятся глупее и глупее. Можно описать, как, получив послание, кто-то гадает и прикидывает, словно сыщик в детективе. Я думаю, что религиозная и нравственная жизнь глубокой древности несравненно проще и ближе к нам, чем принято считать, а уж научная воистину увлекательна.

Первые слова были поразительней первых телеграмм, опыты с самыми простыми вещами — поразительней электричества. Никто еще не создал живой повести о древней жизни. Сейчас я говорю об этом вскользь. Мне важно другое: общество обязано всем этим установлению, которое играет главную роль в первых, самых увлекательных сказках науки.

Мало кто отрицает сейчас, что почти всю науку некогда создали жрецы. Уэллса и других современных писателей не обвинишь в этой слабости — любви к священнослужителям, но они признают, что жрецы немало сделали для

древних искусств и наук. Самые темные из просвещенных людей и не сомневались, что священники всегда стояли на пути прогресса. Один политик сказал мне, что я противлюсь современным реформам, как древний жрец противился применению колеса. Я ответил, что, вероятно, древний жрец сам изобрел колесо. Еще вероятнее, что древний жрец тесно связан с изобретением письма; не случайно об этом свидетельствует слово «иероглиф», которое сродни слову «иерей».

Исповедовали эти жрецы довольно запутанный политеизм, о котором я скажу позже. Одно время они действовали вместе с правителем, потом правитель победил их, потом они его победили и стали править сами. Но мир должен сказать им спасибо за многое из того, без чего обойтись не может; создатели самых нужных, простых вещей вправе занять свое место среди героев истории. Если бы мы довольствовались истинным язычеством, а не просто сердились на христианство, мы воздали бы языческие почести безвестным благодетелям. Мы поставили бы статуи тому, кто добыл огонь, и тому, кто выдолбил лодку или укротил коня.

Приносить им жертвы и цветы много разумнее, чем портить города безобразными статуями нудных политиков или филантропов. Но с приходом христианства ни один язычник уже не может оставаться человеческим; и это — одно из непостижимых свидетельств нашей веры.

Однако сейчас мы говорим о том, что властители Египта — цари или жрецы — все больше и больше нуждались в объединении государства, а в этих случаях не обойтись хоть без какого-то насилия. В защиту самовластия всегда говорили, что без него нет и развития. Может быть, это так, может быть, не так, но уж точно не так, что люди переходили от самовластия к свободе. Неверно, что племя начиналось со страха перед вождем, его копьем и престолом; в Египте, скорее всего, тираном был не Старик, а тот, кто пришел ему на смену.

Копье становилось все длиннее, престол — все выше, по мере того как страна становилась сложней и просвещенней. Потому я не согласен с обычным, обыденным мнением, что страх может править лишь в начале, а не в конце. Мы не знаем, что было в начале с более или менее феодальным сплавом землевладельцев, крестьян и рабов, живущих общинками вдоль Нила. Зато мы знаем, что по мере развития общинки теряли свободу; что абсолютная власть была для них не пережитком, а новшеством. Они шли вперед и в конце дороги нашли самодержца.

В этом коротком рассказе о далеких веках Египет ставит проблему свободы и цивилизации — мы видим, что, усложняясь, страна становилась единообразней. Проблему эту мы разрешили не лучше, чем они, но человека принижает мысль, что даже у тирании нет другого истока, чем страх. Пример Вавилона опровергает толки о цивилизации и варварстве. Вавилон мы тоже застаем в расцвете по той простой причине, что никого нельзя услышать раньше, чем он достаточно разовьется, чтобы заговорить. А говорит он с нами на языке клинописи, странных треугольных значков, очень мало похожих на живописные письмена Египта.

Можно назвать сухим египетское искусство; но Вавилон слишком сух для искусства вообще. Линии лотоса исполнены изящества, линии птицы или

стрелы исполнены движения, и изогнутая линия реки позволяет называть Нил змеей. Вавилон жил не рисунком, а диаграммой. Йетс, чье историческое воображение не слабее мифологического (первое и невозможно без второго), говорит о мудрецах, которые смотрят на звезды «из педантичных Вавилонов». Может быть, сам материал — кирпичи, обожженная глина — не способствовал развитию скульптуры. Во всяком случае, вавилонская цивилизация была неподвижной, но ученой, способствующей жизненным удобствам, похожей на нашу.

Я читал, что они, как мы, почитали высокоумных старых дев и признавали независимых трудящихся женщин. Упорядоченные нагромождения кирпичиков наводят на мысль о практичной деловитости улья. Но при всей своей величине улей состоял из людей. Мы встречаем те же социальные проблемы, что в Древнем Египте или современной Англии; при всех своих пороках, Вавилон — один из первых шедевров человека. Находился он в треугольнике между почти легендарными реками Тигром и Евфратом, и развитым земледелием, без которого бы город не выжил, он обязан оросительной системе, созданной по слову науки. Здесь всегда царила жизнь ума, склонного скорей к учености, чем к искусствам, а выше всех стояли те, кто воплотил звездочетную мудрость древних, — наставники Авраама, халдеи.

Об этот твердый уклад, как о кирпичную стену, бились век за веком безымянные орды кочевников. Являлись они из пустынь, где люди кочевали издавна, кочуют и сейчас. Нетрудно понять, почему люди идут за стадом, которое само находит себе пропитание, и живут мясом и молоком. Такая жизнь может дать почти все, кроме дома. Многим из этих пастухов были ведомы в незапамятные времена великие истины книги Иова; из их среды вышел Авраам, чьи дети задали нам загадку упорного, как мономанья, монотеизма евреев. И все же это были дикие люди, не знавшие сложностей социальной системы.

Словно ветер нес их снова и снова на стены цивилизации. Почти вся история Вавилона сводится к защите от орд, которые являлись сюда почти каждый век и откатывались обратно. Может быть, кочевники породили когда-то гордое царство ассирийцев, давших миру завоевателей, чья поступь подобна топоту крылатых быков. Ассирия была великой державой, но продержалась не очень долго. История этих земель сводится к борьбе кочевников и самого настоящего государства. Возможно, в доисторические эпохи и, несомненно, в историческую кочевники шли на Запад, опустошая все по пути.

В последний раз они не увидели Вавилона. Но было это много позже, и вел их Магомет.

Нет никаких фактов, свидетельствующих о том, что вавилоняне когда-то кочевали, а кочевники хоть где-нибудь осели. Быть может, честные и умные ученые, которым мы так многим обязаны, уже не считают, что кочевничество предшествовало оседлости. Но в этой книге я спорю не с умными и честными учеными, а со смутным общественным мнением, порожденным скороспелыми открытиями.

Мы рассуждаем так: обезьяна превратилась в человека, а дикарь — в джентльмена, и потому все старое — варварство, а новое — цивилизация. К сожалению, это атмосфера, в которой мы живем, а не догма, которую можно

доказать. Людей, разделяющих такие взгляды, не убедишь рассуждениями, скорей уж на них подействуют образы. И мне очень бы хотелось, чтобы, собираясь пуститься в обычные рассуждения — письменные ли, устные ли, — они закрыли на секунду глаза и увидели обрывистую пропасть, кишашую крохотными людьми, — прославленную Вавилонскую стену.

Когда мы смотрим на оба древних царства, мы видим, что их домашняя жизнь осложнена установлением не слишком человеческим, хотя и вполне домашним. Мрачный гигант по имени Рабство, явился, как джинн из бутылки, и сооружал кирпичные и каменные громады. Снова нелегко доказать, что причина этому — первобытная дикость. Если уж на то пошло, раннее рабство либеральней позднего и, наверное, много либеральней того, которое нас ждет.

Обеспечить жизненные блага одних людей, заставив работать других, — очень простая мысль, вот почему к ней еще вернутся. Но в одном смысле древнее рабство очень показательно — оно выражает главную особенность дохристианской истории. От начала и до конца древности личность — ничто перед государством. В самых свободных городах Эллады определенных людей не принимали в расчет, даже не замечали, как в деспотии Вавилона. Рабство не удивляло никого; оно, как сказали бы сейчас, «отвечало общественным интересам». Когда нам твердят: «Человек — ничто, работа — все», это кажется нам плоским афоризмом в духе Карлейля. На самом же деле это мрачный девиз языческого, рабовладельческого государства.

Я говорю так долго о Египте и Вавилоне еще по двум причинам. Во-первых, оба они стали традиционным образчиком глубокой древности, а без традиции история мертва. Призраки Вавилона заполнили детские песенки; Египет, перенаселенный ожидающими воплощения царевнами, беспрерывно порождает ненужные романы. Но традиция, как правило, верна, если она еще народна; верна, даже если вульгарна. Не так уж нелепы Египты и Вавилоны, знакомые нам по детским стишкам и по глупым книгам; даже газетчики, которые всегда отстают от времени, уже добрались до Тутанхамона.

Такой Египет, такой Вавилон исполнены здравого смысла легенды: мы знаем о них и всегда знали больше, чем обо всем другом, что было в то время. Ученые домыслы наших дней испещрили пунктиром границ и стрелками миграций те края, где немудрствующий средневековый картограф писал «Terra Incognita» (неведомая земля — лат.) или, соблазнившись приятной белизной, рисовал дракона, намекая на прием, ожидающий там паломника. Но эти стрелки и пунктиры в лучшем случае — выдуманы, в худшем — намного опаснее дракона.

Все люди тем более умные, а уж паче всех поэтичные, впадают в одно заблуждение — им кажется, что «больше» — то же самое, что «важнее», «основательнее», «обоснованнее». Если человек живет один в соломенной хижине в глубинах Тибета, ему нетрудно внушить, что он подданный Китайской империи, а империя эта, конечно, велика и величественна. Можете внушить ему, что он подданный империи Британской. — ничего, он тоже обрадуется. Но, как ни удивительно, приходит час, когда он гораздо более уверен в империи, которой не видит, чем в хижине, которую видит.

В голове у него все странно, загадочно сдвигается, и рассуждает он, исходя из империи, хотя живет именно в хижине. Иногда он сходит с ума и утверждает, что хижины просто нет, потому что столь высокая цивилизация не потерпела бы такой дыры. Однако безумие его основано на все той же ошибке — он думает, что если идея по имени Китай велика и величава, это уже не только идея. Такой способ мышления очень любят в наше время и распространяют на понятия еще менее ощутимые, чем Китайская империя. Мы забыли, например, что Солнечная система не так очевидна для людей, как родная деревня. О Солнечной системе говорит нам не опыт, а выводы, без сомнения — верные; но это лишь выводы, тогда как мы видим в ней нечто изначальное. Если бы вычисления оказались неверными, солнце, звезды, фонари остались бы точно такими же; однако мы готовы отрицать реальность солнца, если оно не влезет в Солнечную систему.

Такая предубежденность не приносит пользы, даже когда речь идет о вполне реальных системах или империях; когда же речь идет о недоказанных теориях, она приносит только вред. Историки, особенно историки «доистории», завели отвратительную привычку: они начинают с рассуждений о расе. Я не буду говорить сейчас о том сумбуре и о тех мерзостях, которые эта привычка породила в современной политике. Кто-то где-то предположил, что раса — основа нации, и тут же наши нации стали менее конкретными, чем расы.

Ученые выдумали общее понятие, чтобы объяснить частное, а теперь отрицают частное, чтобы оправдать общее. Сперва они принимают кельта за аксиому, затем объявляют ирландца фикцией, а потом удивляются, когда великолепный, мятежный ирландец чем-то недоволен. Они совершенно забыли, что ирландец остается ирландцем, даже если нет и не было никаких кельтов. Сбивает их с толку все то же: выдумка больше, шире факта. Поэтому же отменили англичан и немцев, заменили их тевтонской расой, и некоторые вывели из этого, что если раса — одна, народы воевать не могут.

Столь грубые и странные примеры я привожу, потому что все их знают, речь же идет не о нынешних, а о древних делах. Чем древнее и неопределеннее раса, тем больше верил в нее ученый прошлого века. Наследники его по сей день не разрешают и задуматься над тем, что было допущением, а стало первоначалом. Они гораздо больше уверены в том, что они арийцы, чем в том, что они англосаксы, не говоря уже об англичанах. Они не догадываются, что они европейцы, но твердо знают, что они индоевропейцы.

Теории меняются часто, но гипотезы все так же быстро затвердевают, превращаясь в концепции, концепции — в аксиомы. Нелегко освободиться от смутного чувства, что уж основы-то исторической науки прочны, что самые главные обобщения на чем-то основаны. Как ни странно, это не так. Самое общее покрыто тайной, только частности видны и очевидны.

О каждой расе столько наговорили, что сейчас уже ни в чем нельзя разобраться. Возьмем историю, точнее, «доисторию» европейцев. На моей памяти она претерпела немало изменений. Сперва нас называли кавказской расой; помню, в детстве я читал у Брет-Гарта об ее столкновении с монголами: «Ужель кавказец побежден?»

По-видимому, так оно и было, ибо вскоре он превратился в индоевропейца и даже, как то ни прискорбно, в индогерманца. Кажется, индусы и германцы называют мать и отца очень похожими словами; есть и другие случаи, когда санскрит похож на языки Европы, — все так, но тут же сочли несущественными мелкие различия между индусом и немцем. Чаще всего мозаичное создание называли арийцем, объясняя при этом, что он направился на Запад с высот Индии, где еще существуют обломки его языка. Когда я читал об этом в детстве, я думал, что ариец с таким же успехом мог идти на Восток, прихватив свой язык с собою. Если бы я читал об этом сейчас, я признал бы полное свое невежество.

К сожалению, я не могу читать об этом, потому что об этом не пишут. Кажется, индоевропейец пал в свою очередь. Видимо, он переменял не только имя, но и адрес — я слышал, например, что мы пришли не с Востока, а с Юга, не из Азии, а из Африки. Некоторые, как то ни дико, полагают, что европейцы пришли из Европы или, точнее, всегда в ней жили.

Есть свидетельства и о более или менее доисторическом движении с Севера, подобном тому, которое отдало грекам крито-микенскую культуру и часто приводило галлов на поля и горы Италии. Не знаю, кто тут прав; я просто хочу показать, что ученые вертят и вертят стрелку компаса, и я, неученый, не могу решать то, чего никак не решат они. Но я могу прибегнуть к здравому смыслу, и мне иногда кажется, что их здравый смысл немного заржавел от бездействия. Здравый смысл прежде всего отличит гору от тучи; и я утверждаю, что обо всех этих делах мы ничего не знаем в том смысле слова, в каком мы знаем, что на свете есть пирамиды.

Повторю еще раз: в этих глубинах истории мы действительно видим, а не вполне разумно угадываем несколько огоньков во тьме, покрывающей землю. Один из них освещает высокие террасы Вавилона, другой — высокие пирамиды Нила. Конечно, из тьмы светят и другие огни, вероятно, тоже очень древние, Далеко на Востоке мерцает древняя цивилизация Китая, на Западе — остатки цивилизаций Мексики или Перу, достигшие кое-где самых высоких степеней изошренного беспоклонства. И все же их не сравнишь с Египтом и Вавилоном, ибо традиция их прервана. Традиция Китая жива, но я далеко не уверен, что мы ее понимаем.

Тот, кто хочет измерить древнюю китайскую культуру, должен пользоваться китайской мерой, и странное чувство возникает у него: ему кажется, что он перешел в другой мир, где действуют другие законы времени и пространства. Время изменяет свой ход, века текут как эоны, и никак не найти перспективы, которая позволила бы нам разглядеть первую пагоду. Мы — среди антиподов, в единственном мире, прямо противоположном христианскому; поистине там ходишь вниз головой. Я упоминал о средневековом картографе и его драконе; но какой путешественник думал найти страну, где дракон добр и приветлив?

О более серьезных сторонах китайской цивилизации я скажу позже в другой связи; здесь я говорю только о том, что между нами и Китаем нет моста, именуемого традицией, а с Вавилоном и Египтом, Израилем и Грецией нас соединяет мост. Геродот гораздо ближе нам, чем китаец в современном костюме, который сидит с нами за одним столиком лондонского кафе. Мы знаем, что чувствовал Давид или Исайя, но я не уверен, знаем ли мы, что чувствует Ли Хун-чжан.

Грехи, связанные с именами Елены и Вирсавии, стали для нас примерами прощительной и даже трогательной человеческой слабости. Сами добродетели китайцев как-то пугают нас. Причина такого различия в том, что одна традиция — наша, другая — нет. Древний Египет передал наследство современной Европе. Но если мы спросим, что же мы унаследовали и почему наследство связано с этими местами и этими народами, мы попадем в самый центр истории цивилизаций.

Центр этот — Средиземное море, которое было не столько морем, сколько миром. В мир этот, как в море, вливались реки разных культур. И Нил, и Тибр текли в него; и египтяне, и этруски жили на его берегах. Отблески сверкающих вод видели и арабы в пустыне и галлы за северными горами. Постепенное созидание средиземноморской культуры было главным делом древности. Иногда это было доброе дело, иногда — злое. В orbis terrarum (круг земель - лат.) вписались крайнее зло и высокое добро, самые разные народы жили здесь и разные веры. Азия снова и снова сражалась здесь с Европой, от персов на Саламине до турок у Лепанто.

Позже я расскажу о главной, решающей схватке, когда встали друг против друга два типа язычества, воплощенных в римском форуме и финикийском рынке. Здесь было все: и война, и мир, и добро, и зло. Ацтеки, монголы, Дальний Восток, при всем моем уважении к ним, не значили столько, сколько значило Средиземноморье и значит до сих пор. Конечно, между ним и краем Востока было — и в древности, и позже — немало высоких вер и замечательных событий, в той или иной степени связанных с ним, и поэтому понятных нам. Персы приходили разрушить Вавилон, и греческие историки рассказывают нам, как научились эти варвары гнуть лук и говорить правду.

Александр, великий грек, пошел отсюда к восходящему солнцу и подарил Европе странных птиц, ярких, как облака на рассвете, и странные цветы, и драгоценные камни из сокровищниц безымянных царей. Ислам тоже пошел на Восток, и Восток стал нам понятней, потому что ислам родился в нашем круге земном, недалеко от нашего моря. Много позже империя монголов разрослась, не раскрыв своей тайны; татары захватили Китай, а китайцы, по всей видимости, почти не обратили на это внимания.

Все это очень значительно само по себе, но, как ни старайся, не удастся перенести центр тяжести от нашего моря в просторы Азии. Если бы на свете только и было то, что сказано, сделано и построено вокруг него, мир, в котором мы живем, оказался бы почти таким же. Когда культура Средиземноморья пошла на Север и на Запад, она породила много удивительного, и удивительней всего — мы сами. Когда она затопила землю, она оставалась той же самой, пока была культурой.

Вокруг Средиземного моря укромно, как вокруг озера, лежало все самое главное, самое ценное, как бы это ни изменяли и ни искажали, — республика и Церковь, Библия и эпос. Ислам и Израиль, Аристотель и мера вещей. Этот мир освещен тем же самым белым, древним светом, в котором мы сейчас живем, а не смутным сумраком незнакомых звезд; потому я и начал с двух городов, которые он первыми выхватил из тьмы.

Вавилон и Египет можно назвать первозванными уже потому, что они знакомы, привычны и завлекательно таинственны для нас и для наших предков. Не надо думать, что только они лежали в глубокой древности вокруг моря и что цивилизация была лишь у шумеров, или у семитов, или у коптов; и уж никак нельзя думать, что она ограничена Азией и Африкой.

Серьезные исследователи все выше и выше поднимают древнюю цивилизацию Европы, особенно тех мест, которые мы не слишком определенно называем Грецией. Очень может быть, что существовали греки до греков, как, по их собственной мифологии, были боги до богов. Остров Крит был центром цивилизации, которую сейчас зовут минойской, в честь Миноса, чей лабиринт действительно нашли современные археологи.

Может быть, эта высокая культура, знавшая гавань и канализацию и многие бытовые удобства, исчезла под нашествием с севера тех, кто создал или унаследовал Элладу, известную нам из истории. Как бы то ни было, период этот оставил миру такие дары, что мир до сих пор не может расплатиться с ним, сколько ни тешит себя плагиатом.

Неподалеку от Ионийского берега, напротив Крита и малых островов, был городок, который в наши дни сочли бы, вероятно, огороженной деревней. Он назывался Илион, называли его и Троей, и это имя никогда не исчезнет с Земли. Поэт, возможно, нищий, неграмотный певец, которого предание считает слепым, сложил поэму о греках, напавших на этот город, чтобы отвоевать прекраснейшую в мире женщину.

Нам кажется выдумкой, что прекраснейшая в мире женщина оказалась именно в этом городке, но лучшую в мире поэму сложил человек, который не знал ничего, кроме таких городков. Говорят, поэма эта появилась в конце древнейшей культуры; если это верно, я очень хотел бы видеть эту культуру в расцвете.

Наша первая поэма могла бы остаться единственной. Первое слово человека о его земной доле, увиденной поземному, могло бы стать последним. Если мир сползет в язычество и погибнет, последний из живых может перед смертью прочитать «Илиаду».

Однако в великом откровении античного человека есть черта, которой еще не отвели достойного места в истории. По-видимому, поэт (и, несомненно, читатель) сочувствуют скорее побежденным, нежели победителям. Именно это подхватила традиция, когда иссяк поэтический источник. В языческие времена Ахилл был почти полубогом, потом его почти забыли.

Но слава Гектора крепла с течением веков, имя его носил рыцарь Круглого стола, меч его легенда вложила в руки Роланда, одарив оружием побежденного беду и славу поражения. В герое Илиона заложены все поражения, через которые прошли потом наши народы и наша вера, — те сотни и тысячи бед, в которых наша слава.

Рассказ о гибели Трои не погибнет, ибо мир огласился его эхом, бессмертным, как наше отчаяние и наша надежда. Маленькая мирная Троя могла веками стоять безымянной. Сломленная Троя погибла, и миг ее гибели

остался жить навеки; пламя разрушило ее, а пламя не сожжешь. Так было с городом, так было и с героем — из древнего сумрака проступают очертания первого рыцаря. В самом его прозвище — пророчество.

Мы говорили о рыцарстве, о славном союзе коня и человека. За много веков его предвосхитил грохот Гомерова гекзаметра и длинное, словно бы скачущее слово, которым завершается «Илиада». Единение это сравнимо только со священным кентавром рыцарства. Но не только потому отвожу я в нашем кратком рассказе так много места объятому пламенем городу.

Такие города стали священными, и пламя их побежало по берегам и островам Северного Средиземноморья, по высокой ограде маленького мира, за который умирали герои. Город мал, потому гражданин — велик. Среди бесчисленных изваяний Эллады нет ничего прекрасней свободного человека. Лабиринт огороженных деревень зазвенел плачем Трои.

Легенда, придуманная позже, но никак не случайная, говорит, что троянские беженцы основали республику на итальянском берегу. В духовном смысле это правда; именно таковы корни республиканской добродетели. Тайна чести, родившаяся не из гордыни Вавилона или Египта, засверкала, как щит Гектора, вызывая на бой Азию и Африку.

Занялся новый день, шумно взлетели орлы и прогремело имя. Мир проснулся, чтобы обрести Рим.

Часть I, глава 4: Бог и сравнительное изучение религий

Однажды известный ученый показывал мне римские постройки древнего британского города и произнес при этом фразу, которая кажется мне сатирой на многие ученые высказывания. Может быть, он и сам понял шутку, хотя сохранял серьезность, но я не знаю, понял ли он, что шутка эта бьет прежде всего по «сравнительному изучению религий».

Я удивился, что из солнечного диска, окруженного лучами, смотрел, против обыкновения, не молодой Аполлон, а бородатый Нептун или Юпитер. «Предполагают, — сказал мой спутник с осторожностью, — что это Сул, местное божество. Лучшие авторитеты приравнивают его к Минерве; но борода говорит о том, что тождество нельзя считать полным».

Вот уж поистине мягко сказано. Нынешний мир безумней всякой сатиры. Когда-то у Беллока смешной профессор говорил, что бюст Ариадны по исследованию оказался бюстом Силена. Но куда ему до Минервы в роли бородатой женщины! Правда, и то и это очень похоже на уподобления, которыми мы обязаны «лучшим авторитетам». Когда христианство приравнивают к самым диким мифам, я не смеюсь, и не ругаюсь, и не выхожу из себя, я вежливо замечаю, что тождество нельзя считать полным.

Во времена моей молодости Религией Человечества обычно называли философию Конта — учение нескольких позитивистов, поклонявшихся Человечеству. И в молодости я догадывался, что не совсем последовательно отмахиваться от учения о Троице, презрительно считая его мистическим и даже безумным, и поклоняться Богу в ста миллионах лиц неслиянно и нераздельно.

Однако на свете существует то, что можно с гораздо большим правом назвать религией человечества. Человек — не кумир, но он почти всегда и везде творит себе кумира, и кумиры его во многом человечней и лучше современных надуманных абстракций. Если у восточного бога три головы и семь рук, это хотя бы говорит о материальном воплощении неведомой силы и приближает его к нам. Но если друзья наши, обычные люди, выйдя на прогулку, сольются в азиатского идола, они станут от нас дальше. Многоликий, многорукий идол порождает ощущение приоткрывающейся тайны; смутные силы природы принимают в нем не слишком гармоничную, но вполне наглядную форму.

Люди теряют человеческий облик, если они недостаточно отделены друг от друга, можно даже сказать, если они недостаточно одиноки. Их труднее, а не легче понять. Чем ближе они друг к другу, тем дальше от нас. Поклонники человечества тщательно изгоняли из своей религии Бога, чтобы сохранить человека. Это не получилось. Когда говорят о человечестве, мне представляются пассажиры в переполненной подземке. Удивительно, как далеки души, когда тела так близко.

Братство людей, о котором я говорю, не имеет ничего общего с однообразной, стадной жизнью современного города. Под братством я понимаю то, к чему стремятся предоставленные самим себе общества и даже люди, влекомые здоровым человеческим инстинктом. Как все здоровое и

человеческое, он проявился в самых разных формах, но суть остается одна. Прежде всего мы увидим ее в той древней стране свободы, которая лежит за пределами рабовладельческих промышленных городов.

Наша индустриальная цивилизация гордится, что все ее изделия похожи, что на Ямайке и в Японии можно пить одно и то же плохое виски, а на обоих полюсах — увидеть один и тот же веселенький ярлычок сомнительных рыбных консервов. А вино, дар богов, — разное в каждой долине, и каждый виноградник может породить сотню вин, ничуть не похожих на виски. Сыры меняются от округи к округе, и ни один из них не похож на мыло или на мел.

Говоря о братстве, я имею в виду бесконечное разнообразие; тем не менее я буду рассматривать здесь людей как единство. Я настаиваю: мы так запутались именно потому, что этого не понимаем. Прежде чем сопоставлять религии и их основателей, надо бы понять очень естественное явление, охватывающее огромное братство людей. Явление это — язычество; и на этих страницах я попытаюсь показать, что только оно соперничает с Церковью Христовой.

Сравнительное изучение религий лучше бы назвать сомнительным. Когда мы присмотримся к нему, мы видим, что оно сравнивает несравнимое. Мы привыкли к единому списку великих религий и тех, кто их основал: Христос, Магомет, Будда, Конфуций. Но это ловкость рук, обман зрения, одна из тех оптических иллюзий, которые возникают, если смотришь из определенной точки. Религии и основатели религий — или то, что так называют, — совсем не одинаковы.

Иллюзия отчасти вызвана тем, что ислам в этом перечне идет за христианством, как и было в истории. Остальные же религии ничуть не схожи ни с Церковью, ни друг с другом. Когда мы доходим до Конфуция, обрывается последняя связь. Сравнить христианина с последователем Конфуция — то же самое, что сравнивать теиста с английским сквайром или веру в бессмертие души с американским образом жизни. Конфуций, быть может, создал цивилизацию, но никак не религию.

Церковь неповторима, и потому так трудно доказать ее неповторимость. Ведь легче и нагляднее всего доказательство по сходству, а в мире нет ничего подобного Церкви. Нет подобия — нет и искажения. Все же я, кажется, нашел довольно близкую параллель. Наверное, многие согласятся, что евреи занимают в мире особенное, единственное место. Только их мы вправе назвать международным народом; только эта древняя культура рассеяна по всему миру, и ее еще можно отличить, но невозможно уничтожить.

И вот представьте себе, что кто-нибудь решил смягчить загадочную неповторимость евреев, составив список рассеянных по свету народов. Начать нетрудно — есть цыгане; быть может, они не совсем народ, но, без сомнения, рассеяны по свету. После этого профессору новой науки нетрудно перейти к кому угодно. Он может отметить непоседливость англичан, разбросавших колонии по всему миру, — и правда, многим англичанам не сидится в Англии, хотя их уход не всегда ей на пользу. Как только мы упомянем бродячую империю англичан, мы вспомним империю ссыльных — ирландцев. Странно, что непоседливость в первом случае говорит о предприимчивости и силе, во втором — о никчемности и слабости.

Затем наш ученый глубокомысленно оглядится и вспомнит, что последнее время поговаривают о немцах-лакеях, немцах-парикмахерах и прочих немцах, натурализовавшихся в Англии, Соединенных Штатах и Южной Америке, и внесет в список пятую нацию бродяг, припомнив кстати слово «Wanderlust» (тяга к странствиям, нем.) Наконец, почувствовав, что конец близок, он сделает последний отчаянный прыжок. Он обратит внимание на то, что французы взяли почти все европейские столицы и прошли бесчисленные страны под началом Бонапарта или Карла Великого.

Вот и готов список бродячих, бездомных народов, а в евреях нет ничего особенного, тем более мистического. Но люди здравомыслящие могут заподозрить, что ученый просто расширил понятие бродячего народа до того, что оно потеряло всякий смысл. Конечно, французские солдаты проделали славнейшие в истории походы, но если французский крестьянин не врос корнями в землю, то на свете оседлости нет.

Именно этот фокус проделали ученые, расставившие в ряд великие религии. Я не хочу сказать, что члены этого ряда лишены величия или своеобразия. И конфуцианство, и буддизм велики, но они — не Церковь; так англичане и французы — великие народы, но они — не бродячие.

В некоторых отношениях христианство похоже на свою имитацию, ислам; и цыгане кое в чем похожи на евреев. Дальше список включает почти все, что попадет под руку.

Со всем почтением к тем, кто много учений меня, я посмею отказаться от нынешнего метода, который, на мой взгляд, исказил исторические факты, и предложу свою классификацию, которая, надеюсь, охватит все факты, а также, что здесь важнее, — все вымыслы. Я разделю религии не географически, не вертикально (христианство, ислам, индуизм, буддизм), а психологически, горизонтально. Я разделю их по слоям, которые могут существовать в одной стране и даже в одной душе. На время я вынесу христианство за скобки и расскажу о вере в Бога, в богов, в бесов, в мудрость.

Мне кажется, что такая классификация поможет рассортировать духовный опыт человечества гораздо успешнее, чем обычное сопоставление религий, и многие великие личности встанут на свои места. Поскольку я буду не раз пользоваться этими терминами, я хотел бы сейчас определить, что понимаю под каждым из них. Начну с самого простого и с самого высокого в этой главе.

Говоря о языческом человечестве, нам приходится начинать с описания неопишуемого. Многие преодолевают трудность тем, что просто отрицают ее или хотя бы не замечают; но в том-то и суть, что это оставалось и тогда, когда этого не замечали. Теперь все помешались на эволюции и полагают, что большое всегда развивается из маленького, как плод — из семени. Но они забывают, что семя падает с дерева. И впрямь, у нас нет доказательств, что религия развилась из ничтожной забытой мелочи; гораздо вероятнее, что ее начало было слишком огромно и потому — несподручно. Очень может быть, что многие люди начали с простой и поразительной идеи Вседержителя и только потом, как бы от усталости, соскользнули к богам или бесам.

Даже современные дикари, столь любезные фольклористу, подтверждают эту мысль. У дикарей примитивных во всех смыслах, какие только вкладывают в это слово, — скажем, у аборигенов Австралии — обнаружили монотеизм с явной нравственной окраской. Какие-то дикие политеисты рассказывали миссионеру свои запутанные мифы, а он в ответ рассказал им о благе Бога, Который чисто духовен и судит людей по истине. Туземцы переполошились, словно кто-то выдал тайну, и закричали: «Атахокан! Он говорит про Атахокана!»

Может быть, вежливость и даже скромность не разрешали им упоминать Атахокана. Может быть, у них, в отличие от нас, это имя не упоминают всуе. Возможно, старый Бог был связан со старой нравственностью, которая показалась обременительной в трудную минуту. Наконец, общение с бесами бывает более модным, более утонченным, как и в наши дни. Какова бы ни была причина, это встречается нередко: люди говорят о богах, принимая без разговоров Бога.

Индеец Калифорнии рассказывает: «Солнце — отец и правитель неба. Оно — большой вождь. Луна — его жена, а звезды — дети», и так далее, и вдруг посередине этой сложной и наивной повести поясняет как бы в скобках, что солнце и луна должны делать то-то и то-то, «ибо так приказал Великий Дух, Который выше всего». Вот как относятся многие язычники к Богу. Его принимают как должное, забывают и вспоминают к случаю; кажется, это свойственно не одним язычникам. Иногда Высшее Существо хранят в тайне и упоминают лишь на высших ступенях посвящения.

Но поистине всегда дикарь легко говорит о мифологии, молчит — о религии. Австралиец, например, создал царство нелепицы, которое наши предки сочли бы достойным антиподов. Ему ничего не стоит поболтать общения ради о том, что солнце и луна — половинки разрубленного младенца, а дождь — молоко исполинской коровы, но он удаляется в тайные пещеры, скрытые от женщин и белых, в храмы страшной инициации и там, под ритуальный грохот, обливаясь жертвенной кровью, узнает от жреца последние, чудовищные тайны, доступные только посвященным: что честность лучше хитрости, что добротой дела не испортишь, что люди — братья, а Отец их — Бог, Вседержитель, Творец неба и земли, видимого и невидимого.

Может показаться странным, что дикарь выбалтывает самые уродливые и нелепые свои верования и скрывает то, что величественно и разумно. Но в том-то и дело, что это совсем разные вещи. Мифы — это сказки, вымыслы, даже если они вездесущи, словно тропический ливень. Тайна — это правда, и скрывают ее потому, что принимают всерьез. Слишком легко забыть, как страшно единобожие.

Роман, где все действующие лица окажутся одним и тем же героем, произведет немалое впечатление. Как же потрясает модель, что и солнце, и река, и дерево — обличья одного Бога! К несчастью, и мы слишком часто принимаем Атахокана как должное. Но и для тех, кто допустил, чтобы мысль о Нем стала общим местом, и для тех, кто хранит ее в тайне, это старый трюизм и старая тайна. Нет доказательств, что она развилась из мифов, зато много оснований считать, что она мифам предшествовала.

Мы не знаем, что творилось в мире, но «эволюция идеи Бога» — чистой выдумка. Идею эту прятали, от нее прятались, о ней почти забывали, ее отвергали — но она не развивалась. Многобожие нередко кажется ворохом единобожия. Тот или иной бог, занимающий невысокое место на Олимпе, владел и небом и землей в собственной долине. Как маленький народ, поглощаемый империей, он отдал местное всеисие за повсеместную известность.

Самое имя Пана наводит на мысль о том, что он был богом всего, прежде чем стал богом леса. Само имя Юпитера звучит языческой версией слов «Отче наш». Порою кажется, что не только Великий Отец, но и Великая Мать, Деметра или Кибела, просто не вынесла бремени единовластия. Вполне возможно, что у многих и не было других богов — они поклонялись какому-то одному, считая его Вседержителем.

В некоторых огромных, многолюдных краях — скажем, в Китае — простая мысль о Великом Отце не была, по-видимому, осложнена культами, хотя и сама в каком-то смысле не перестала быть культом. Лучшие авторитеты признают, что учение Конфуция — в сущности, агностическое — уживалось со старым теизмом именно потому, что он был в высшей степени расплывчатым. Китайцы говорили не о Боге, а о Небе, словно вежливый человек в гостинной, а небо всегда над нами, даже если мы очень далеки от него. Так и кажется, что простая истина уходила все дальше, пока не стала совсем далекой, по-прежнему оставаясь истиной.

Именно это мы ощущаем в загадочных и прекрасных мифах о разлучении земли и неба — какая-то высшая сила куда-то уходит. Нам рассказывают на тысячи ладов, что небо и земля были некогда вместе, любили друг друга, а потом что-то, например непослушный ребенок, разлучило их, и мир был построен в этой пропасти, на расставании и разрыве. Одну из самых грубых версий мы находим в Греции в мифе об Уране и Сатурне; одну из самых поэтичных — у дикого племени, рассказывающего о перце, который рос и рос, поднимая небо, как крышку.

О мифах и мифических толкованиях, которые теперь предлагают, я буду говорить позднее. Но в этом образе, образе делящегося мира, есть отзвук очень важных идей. Чтобы их понять, лучше лечь на спину в поле и глядеть в небо, чем читать самые ученые и лучшие книги о фольклоре. Тогда мы узнаем, почему говорят, что небо должно быть ближе и когда-то было совсем близко, что оно не чуждо нам, а от нас оторвано и теперь прощается с нами. И странная догадка забрезжит в нашем сознании: а может быть, мифотворец — не просто деревенский дурак, вздумавший резать ножом облака?

Может быть, в Томасе Гуде говорил не грубый дикарь, когда он писал, что, судя по верхушкам деревьев, он дальше от неба, чем в детстве? Мне кажется, он бы понял миф об Уране и Сатурне — о том, что царя небес изгнал Дух Времени. Мысль о Боге светится даже в мысли, что были боги до богов. Во всех запутанных намеках — отблеск какой-то прежней простоты. Боги и полубоги плодятся на наших глазах, как сельди, а мы чувствуем, что у них есть родоначальник.

Мифология становится все сложнее, и это наводит на мысль, что она когда-то была простой. Даже с внешней, с научной точки зрения можно предположить, что люди начали с единобожия, а позже оно развилось или выродилось в многобожие. Но меня интересует не столько внешняя, сколько внутренняя сторона дела, а, как я уже сказал, эту сторону почти невозможно описать. Ведь нужно говорить именно о том, о чем не говорят люди, переводить не с чужого языка, а с чужого молчания.

Мне кажется, что за всем многобожием и язычеством стоит что-то непомерно огромное, а мы видим лишь его отблеск в дикарских или греческих мифах. Я не сказал бы, что там есть Бог, Его там нет, но отсутствие — не отрицание. Когда мы пьем за отсутствующих друзей, мы не хотим сказать, что ни с кем не дружим. Такая пустота конкретна и положительна, как пустой стул. Я преувеличил бы, если бы сказал, что греки видели над Олимпом пустой престол. Ближе к истине великий образ Ветхого завета — помните, как пророк видел Господа сзади? Вот и к древним словно кто-то великий повернулся спиной.

Не надо думать, что они видели Его так же ясно и сознательно, как Моисей и его народ. Я совсем не думаю, что язычники были подавлены мыслью о Нем, ибо она и впрямь подавляет. Нет, она так огромна, что они несли ее легко, как все мы несем груз неба. Глядя на облако или птицу, мы можем и не заметить их грозного синего фона. Небо давит на нас, почти нас уничтожает, и мы ощущаем его как ничто, как пустоту. Может быть, все это и впрямь ничтожные или пустые ощущения, но у меня они очень сильны, когда я читаю о языческих мифах и верованиях.

Я ощущаю это в несказанной печали стихов и далеко не уверен, что хоть один из славных мужей древности ведал радость святого Франциска. Я ощущаю это в легенде о золотом веке и в намеках на то, что сами боги — подвластны, даже если Неведомый выцвел и стал Судьбой. А сильнее всего этот дух в те бессмертные минуты, когда древние, словно стряхнув накопившуюся сложность, говорят просто, почти прямо и только наше односложное слово может выразить их мысль.

Чем заменишь его в Сократовом прощании с судьями: «Я иду умирать, вы остаетесь жить, и только Богу ведомо, что лучше»? Ничем не заменишь его у Марка Аврелия: «Он говорит: «Возлюбленный град Кекропа», почему же ты не скажешь: «Возлюбленный град Божий»? И нет другого слова у Вергилия, возопившего ко всем страждущим как истый христианин до Христа: «*O passo graviora dabit deus his quoque finem*». ("Нашим мучениям Бог положит предел" [лат.; "Энеида", I., 200. - Перевод С. Шервинского]).

Древним казалось: что-то есть выше богов и потому — дальше от людей. Даже Вергилий не смог разгадать загадку Того, Кто и выше и ближе. Для них Всевышний был таким далеким, что они все меньше и меньше думали о Нем. Он все меньше был связан с их мифами; но когда мы узнаем, какими были почти все их мифы, мы можем счесть это молчаливым признанием Его неприкосновенной чистоты. Евреи не унижали Бога изображением, греки — вымыслами.

Когда вспоминают лишь шутки и подлости богов, поистине благочестиво забыть о Боге. Весь дух тех времен подсказывает нам, что люди выбрали

низшее и почти сознают это сами. Трудно найти слова для таких вещей, но одно, самое точное слово уже найдено. Древние знали о грехопадении, даже если они ни о чем не знали; знают о нем и все настоящие язычники. Упавший с высоты может помнить о падении, даже если он забыл высоту. Этот мучительный, как танталова пытка, провал памяти зияет в глубине всех языческих чувств.

Все мы иногда, на секунду, вспоминаем, что о чем-то забыли; и самые темные из людей, взглянув на землю, могут вспомнить, что забыли о небе. Но у древних были минуты, подобные воспоминаниям детства, когда они говорили просто и прямо; когда римлянин Вергилий разрубал ударом стиха хитросплетения мифов и разбегалось сборище богов, а в небе оставался Бог.

Белый свет полузабытого утра еще лежит на Юпитере, Пане или раннем Аполлоне. Я уже говорил, что каждый из них мог быть когда-то единственным, как Ягве или Аллах. Они утратили свое могущество благодаря тому, о чем очень нужно сказать, — их соединяли, сгоняли вместе, и это было весьма похоже на нынешний синкретизм.

Мир язычества создавал Пантеон и принимал в него все новых и новых богов, даже варварских и чуждых, из Азии и Африки; что ж, вместе веселее, хотя азиатские и африканские боги не всегда были веселыми. Он принимал их на равных правах, иногда отождествлял со своими. Может быть, он считал, что это обогащает религиозную жизнь, но именно так потерял он окончательно то, что мы зовем религией.

Древнейший свет простоты, идущий от одного источника, словно от солнца, сменился сложной игрой полутонов и теней. Бога принесли в жертву богам.

Теперь считается очень либеральным и смелым признавать, что чужой бог не хуже нашего. Вероятно, древние тоже считали себя и просвещенными, и смелыми, присоединяя к богам очага или города дикого Диониса, сошедшего с гор, или грубого Пана, вылезшего из леса. Ради этой широты взглядов они потеряли самое широкое, всеобъемлющее представление об Отце, объединяющем мир.

И наоборот: наверное, тех, кто был предан одной статуе или одному имени, считали суеверными, отсталыми людьми. Но именно эти темные провинциалы хранили то, что много ближе, чем боги, к космической силе философов и даже к космической силе ученых. Косные тугодумы были пророками, и из этого парадокса можно сделать очень важный вывод. Я не хочу углубляться сейчас во все, что говорили по этому поводу, я просто сообщаю исторический факт: особый свет сияет с самого начала на маленьком одиноком народе. В этом парадоксе, в таинственной загадке, разгадка которой была неизвестна столетиями, — миссия и сила евреев.

Попросту говоря, мы обязаны Богом евреям. Мы обязаны Богом тому, что так часто порицают в евреях, и даже тому, что и вправду заслуживает порицания. Во всех этих странствиях, конца которым не видно и в наши дни, особенно в начале странствий, евреи несли судьбы мира в деревянном ковчеге, где, может быть, таился безликий символ и, несомненно, жил невидимый Бог.

Очень важно, что Бог был безликим. Как бы ни трогала нас творческая свобода христианства, затмившая даже гармонию античности, мы не должны забывать, как много значило для мира отвращение евреев к идолам. Запреты нередко охраняют широту, как забор охраняет поле. Бог, который не мог стать идолом, оставался Духом.

Но если бы евреи изобразили Его, изображение это ни в коей мере не обрело бы обезоруживающей прелести и дивного достоинства греческих скульптур. Он жил в стране чудищ. Мы увидим позже, какими они были – Молох, и Дагон, и страшная Танит. Если бы для Бога Израилева выбрали вещественный символ, это был бы фаллический символ. Если бы Ему дали тело, вызвали бы к жизни худшее в мифологии, все многоженство многобожия, небесный гарем.

Но евреи отказались изображать Его, и это первый в истории пример той мнимой узости, которую так осуждают узкие либералы. Однако у тех же критиков есть и более веское обвинение: нередко с презрительной усмешкой они замечают, что Бог Израиля — просто грубый Бог Воинств, варварский военачальник, завистливый враг и соперник всех других богов.

Как хорошо для всех нас, что Он был богом воинств! Как хорошо, что Он враждовал с другими богами! Они были бы очень рады, если бы Он простер к ним руки, милостиво обнял Молоха, целовал размалеванный лик Астарты и отдал бы Свой звездный венец за сому Индии, нектар Олимпа или мед Валгаллы.

Насколько легче и проще было бы евреям, если бы они, вняв голосу просвещенного синкретизма, согласились слиться с языческими культами. Несомненно, они соскальзывали на этот пологий склон, и каждый раз их удерживала пламенная одержимость нескольких вдохновенных демагогов, чьи свидетельства о Едином и сейчас словно яростный ветер.

Чем больше мы знаем о тех путях, какими шла к победе наша вера, тем сильнее поражает нас — в самом прямом смысле слова — величие пророков Израиля. Когда весь мир растворялся в мешанине мифов, Саваоф — местный, ограниченный Бог Воинств — сохранял в неприкосновенности первую религию людей. Он был Богом племени, и потому мог стать Богом всего мира. Он был ограничен, как и мир.

Скажу иначе. Был у язычников бог Юпитер-Амон, но никогда не было на свете ни Юпитера-Ягве, ни Ягве-Амона. Если бы они были, был бы и Ягве-Молох. Задолго до того как сторонники синкретизма добрались до Юпитера, образ таинственного Вседержителя потерял бы все свои черты, все единство, он искажился бы до идола, куда более гнусного, чем дикарский фетиш, — ведь он стал бы цивилизованным, как боги Тира и Карфагена.

Какой была эта цивилизация, я расскажу позже, когда попытаюсь описать, как бесы едва не разрушили Европу и все, что было здорового в язычестве. Но хребет мира был бы сломлен задолго до этого, если бы не устоял монотеизм Моисеева предания. Надеюсь, в следующей главе я покажу, что отношусь совсем неплохо к тому здоровому началу язычества, которое породило его сказки и повести. Но еще я надеюсь показать, что все это было обречено и мир

погиб бы, если бы мы не сумели вернуться к изначальной простоте Первоначала.

Тем, что мы хоть как-то к ней вернулись и ее сохранили; тем, что поэты и философы и в наше время могут славить Всевышнего и мы живем в просторном, светлом мире, под небом, отечески распростершимся над всеми народами земли; тем, наконец, что мудрость и милосердие стали прописными истинами для простых и разумных людей — всем этим мы обязаны беспокойному бродячему народу, подарившему нам святое и спокойное благословение ревнивого Бога.

Языческий мир владел всем, кроме этой тайны, потому что ею владели скрытные, ревнивые люди. Их не любили, отчасти за узость, которую заметил Рим, отчасти же потому, что они уже начали подменять ремесла сделками. Важно и то, что многобожие стало непроходимым, как джунгли, и одинокому единобожию легко было в нем затеряться. И все же странно видеть, как глубоко оно затерялось. У них были сокровища, ставшие теперь достоянием всего мира, — почему же они не стали ими тогда?

Книга Иова — один из краеугольных камней культуры, выше самой «Илиады» и греческих трагедий. Я не могу читать спокойно о том, как двух извечных дураков, пессимиста и оптимиста, низвергли на заре времен. Дух этой книги глубже горькой языческой иронии именно потому, что в единобожии больше мистики, собственно, книга эта отвечает на тайну тайной, Иов утешается загадкой — но утешается! Вот прототип, вот пророчество о Том, Кто говорит как власть имеющий. Когда сомневающийся может только сказать: «Я не понимаю», Знающий может только ответить: «Да, ты не понимаешь», и сразу возникает надежда — значит, что-то стоит понять.

Но античный мир, исполненный поэзии многобожия, не заметил поэзии монотеизма. Как же отделены были евреи, и как ревностно они хранили свое предание! Ведь сохранить в тайне книгу Иова от всего образованного мира не легче, чем скромно спрятать пирамиды. Евреи не доверяли римлянам; но и римляне не доверяли евреям, и не случайно.

В конце концов, Израиль владел только половиной истины, хотя, следуя поговорке, ее можно назвать большей половиной. Другая половина (я скажу о ней в следующей главе) тоже была истиной, пусть много более легкой, менее важной. Скорбь Иова не полна без скорби Гектора, плач о мироздании — без плача о городе. Когда Господь говорит из бури, он мог бы говорить в пустыне. Монотеизма кочевников мало для пестрой цивилизации полей, городских стен, изгородей и храмов, которым тоже пришел свой черед, когда обе половины сомкнулись в более четкой и трогательной вере.

Среди языческой толпы иногда попадался философ, мысливший о чистом теизме, но он и не думал, что может изменить все обычаи. Нам трудно понять, как в философских системах соотносились политеизм и теизм. Может быть, точнее всего здесь будет образ, позаимствованный из преданий, еще более далеких от Рима, чем Ветхий завет.

Я читал, что, по индусскому поверью, и боги, и люди — только сны Брахмы и все они исчезнут, когда он проснется. Конечно, в этом образе немало того

духа, который мы назвали бы отчаянием, а в Азии зовут миром. Мы рассмотрим его, когда будем полнее сравнивать Азию и Европу. Но он поразительно тонко и точно показывает одно: как непохожи, даже противоречивы мифы и религия.

В том-то я беда сравнительного изучения религий, что Бога не сравнишь с богами, как не сравнишь человека с героями сновидений. Если вам кажется, что разница сводится к тому, что у нас один Бог, а у других — побольше, вам будет полезна слоновья причудливость индийской космологии; и, может быть, вы ощутите, как содрогнулся покров мира, и все многорукие творцы, и звери на престолах, и сложные узоры звезд — властительниц ночи, когда открылись глаза Брахмы, словно занялась заря.

Часть I, глава 5: Человек и мифы

Когда я сравниваю богов с мечтами или сновидениями, я не хочу сказать, что сны не могут сбываться. Когда я сравниваю их с рассказами о путешествиях, я не хочу сказать, что в таких рассказах нет правды или хотя бы правдоподобия. Скорее всего, они похожи на то, что путешественник рассказывает самому себе.

В наши дни почему-то совершенно забыли, что миф — плод воображения и потому — произведение искусства. Надо быть поэтом, чтобы создать его, и надо быть поэтом, чтобы его критиковать. В мире больше поэтов, чем непоэтов, — иначе народ не создал бы легенд, но мне никто не объяснил, почему только малочисленному непоэтическому меньшинству разрешается исследовать творения народа.

Мы не отдаем сонет на суд математика или песню на суд счетовода, но никого не удивляет, что народное творчество прежде всего рассматривают научно. На самом же деле поэзию народа прежде всего надо рассматривать эстетически. Если дикарь говорит профессору, что вначале на свете была только пернатая змея, профессор должен содрогнуться и наполовину поверить, иначе он не имеет права судить о таких вещах.

Если лучшие краснокожие авторитеты уверяют, что древний герой носил в шкатулке солнце, луну и звезды, он должен захлопать в ладоши или задрыгать ногами от радости. Это испытание не так уж нелепо. Первобытные дети и дети дикарей и смеются, и дрыгают ногами, как наши; мы должны проявить хоть минимум детской простоты, чтобы ПОЛУЧИТЬ право судить о детстве мира. Когда нянька рассказывала Гайавате, что воин забросил на луну свою бабушку, он смеялся, как смеются наши дети, когда няня рассказывает им, что корова перепрыгнула через луну. Ребенок видит шутку не хуже взрослых и гораздо лучше многих ученых.

Если ученый мне скажет, что маленький Гайавата смеялся потому, что экономика индейцев заставляла их уничтожать престарелых членов семьи, я позволю себе не согласиться. Если ученый скажет, что корова перепрыгнула через луну только потому, что молочный скот был связан с культом Дианы, я ему не поверю. Что же еще делать корове, как не прыгать через луну? Мифотворчество — одно из немногих действительно утраченных искусств. Но это искусство. Рогатый месяц и рогатая корова как нельзя лучше подходят друг к другу. Бросать бабушек в небо не очень похвально, но эстетически безупречно.

В отличие от художников и поэтов, ученые редко понимают, что одна из ветвей красоты — уродство. Им неведома законная красота гротеска; они называют дикарский миф грубым, нелепым и болезненным, потому что в нем нет красоты летящего Меркурия, и не видят, что в нем есть красота несчастной Алисиной Черепахи или сумасшедшего Шляпника. Люди прозаические всегда требуют от поэтов поэтичности. Мифы же пропитаны настоящим юмором.

У австралийских аборигенов, признанных безнадежно примитивными, есть сказание о гигантской лягушке, которая проглотила всю воду на земле и не

вернет ее, пока не рассмеется. Самые разные животные проходят перед ней, но она держится серьезно, как королева Виктория. Пробрал ее только угорь, который стоял на хвосте, по-видимому, отчаянно стараясь сохранить собственное достоинство.

Из этой басни можно выкроить сколько угодно самой прекрасной литературы. Как глубоко и мудро видение сухого мира, тоскующего о благодном потоке смеха! Как прекрасно огромное чудище, извергающее воду! Как смешна раздутая пучеглазая морда, взирающая на пеликана или пингвина! Во всяком случае, лягушка рассмеялась; но фольклористы сохранили серьезность.

Если даже мифотворчество ниже искусства, его все равно нельзя судить с точки зрения науки. Многие мифы просты и незамысловаты, как первые детские рисунки. Но ребенок рисует, и мы не считаем его рисунки плохим чертежом. Ученый не может рассуждать о дикаре, потому что дикарь не рассуждает о мироздании. Он занят совсем другим делом; я бы сказал, что он сплетничает о богах. Если хотите, он поверил в них раньше, чем собрался о них подумать. Точнее, он принял их раньше, чем в них поверил.

Признаюсь, я не сторонник теории бродячих сюжетов или, вернее, бродячего сюжета. Действительно, многие мифы похожи; но это ничуть не доказывает, что они заимствованы. Человек совсем не обязательно крадет рассказ у другого; очень может быть, что с ним просто случилось то же самое. Доводы фольклористов нетрудно применить к литературе и превратить всех писателей в маньяков плагиата. Я легко отыщу в сотнях книг мотив цветка или цветов — от злосчастного букета Бекки Шарп до роз принцессы Руританской. Может быть, эти цветы выросли на одинаковой почве, но это не один и тот же цветок, захватанный многими руками.

Истинное происхождение всех мифов открывали слишком часто. В мифологии слишком много ключей, как слишком много криптограмм в Шекспире. Все — фаллический культ; все — тотем; все — воскресающий и умирающий знак; все — духи предков и погребальные обряды; все — золотая ветвь жертвоприношения; все — солнце и луна; все — это все.

Каждый мало-мальски разумный фольклорист, который видел, и читал, и понял больше, чем требует его мания, например Эндрью Ленг, признается, что от всего этого у него голова идет кругом. Но в том-то и беда, что мы хотим рассматривать мифы со стороны, как принято в науке. А надо увидеть их изнутри. Надо спросить самого себя: как бы я начал хорошую сказку? Начать ее можно с чего угодно и повернуть куда угодно. Можно начать с птицы, даже если птица не тотем; можно начать с солнца, не думая о солярном мифе.

Разрешите десяти тысячам детей рассказать о том, что они делали в лесу, и вы без труда найдете одинаковые сюжеты, которые прекрасно подойдут под поклонение солнцу и тотему. Будут здесь и очень хорошие, и глупые, и даже гнусные рассказы, но судить о них можно только как о рассказах, на современном жаргоне — о них можно судить только эстетически. В наше время вкус пустили в области, где он не имел никаких прав, позволили ему подтачивать разум прагматизмом и нравственность — распущенностью; тем

более странно, что его не пускают в действительно подвластную ему область. Мы даем волю чувству прекрасного везде, кроме сказок.

Чем человек проще, тем он тоньше. Каждый должен помнить это, потому что каждый был ребенком. Как бы мало ребенок ни знал, он знает больше, чем может сказать, и ощущает не только атмосферу в целом, но и тончайшие ее оттенки. Вы не поймете моих слов, если не испытаете того, что испытал всякий поэт или художник. Когда мы видим прекрасное, нам не терпится отыскать в нем смысл, узнать его тайну, и мы места себе не находим, когда дерево или башня ускользают от нас, не рассказав о себе. Для поэта и художника нет совершенства там, где нет души.

Бессознательная красота мира — как обезглавленная статуя. Только в высшей степени второстепенного поэта удовлетворит безголосая башня или безглазое дерево. Часто говорят, что языческие боги олицетворяют силы природы. Это верно и все же неточно; можно подумать, что для древних силы природы — абстракция, олицетворение — искусственно. Мифы — не аллегория. Дриада — совсем не то, что какой-нибудь бог тяготения. Дух водопада — не дух падения воды. В том-то и суть, что он одухотворяет воду, придает ей смысл.

Ведь и Рождественский Дед — не отвлеченная идея снега или святости и не просто белое мягкое вещество, слепленное по образу и подобию человека, как снежная баба. Он придает новый смысл белому миру и вечнозеленым веткам; из-за него самый снег кажется нам теплым. Конечно, мой довод взывает только к воображению, но это не значит, что он произволен. Это не значит, что он субъективен, как говорят теперь, когда хотят обвинить во лжи.

Каждый настоящий художник сознательно или бессознательно чувствует, что касается потусторонних истин, что его образы — тени реальности, увиденной сквозь покров. Мистик, создавший мифы, знал: что-то да есть за облаками и в листве деревьев. И ему казалось, что, погнавшись за красотой, он это отыщет, вызовет магией воображения.

Теперь мы его не понимаем, даже когда сами так чувствуем. тем более когда читаем о наших далеких предках. Потому и опасно раскладывать по полочкам такие вещи; нам начинает казаться, что никаких загадок тут нет. Даже настоящее, глубокое, тонкое исследование — «Золотая ветвь», например, — оставляет у читателя смутное впечатление, что миф о спрятанном сердце колдуна или великана что-то «значит», «выражает» какое-то глупое поверье под названием «внешняя душа». На самом же деле мы не знаем, что значат такие вещи; мы не знаем, почему они так сильно трогают нас самих.

Представьте, что кто-нибудь говорит: «Сорви этот цветок, и в далеком замке умрет принцесса». Мы не знаем, почему нас охватывает тревога и невозможное кажется нам неизбежным. Представьте, что мы читаем: «И когда король погасил свечу, его корабли погибли далеко у Гебридских островов». Мы не знаем, почему воображение примет это раньше, чем оттолкнет разум, но что-то очень глубокое задевают эти слова — смутное ощущение, что большие вещи зависят от маленьких: темное чувство, что окружающие нас предметы значат гораздо больше, чем мы думаем, и многое другое. Сила таких поверий подобна силе метафоры.

Как часто душа метафоры — поистине «внешняя душа»! Лучшие критики замечали, что у лучших поэтов многие образы не имеют никакого отношения к тексту, связаны с ним так же мало, как замок с розами или дальние острова со свечой. Шелли сравнивает жаворонка с юной княжной, и с ворохом роз, и со многими другими вещами, которые, по-моему, меньше всего на свете похожи на жаворонка.

Наверное, нет в английской литературе слов, равных по магической силе зацитированной уже строчке из Китсова «Соловья» о «волшебных окнах над скалой морской» (перевод Г. Кружкова.), и никто не замечает, что и этот образ совершенно ни на чем не держится. Он идет сразу же после таких же загадочных замечаний о Руфи и с сюжетом ничем не связан. А главное, если и есть на свете место, где ни за что не найдешь соловья, то это подоконник на морском берегу. Но никто и не собирается его там искать.

В том же самом смысле никто не ждет, что отыщет сердце великана в ларчике под водой. Когда Шелли говорит, что облачко встает, «как младенец из чрева» и как «тень из могилы», легче легкого объяснить первый образ так называемым «обрядом умножения», а второй — поклонением духам предков. Но мы не станем уподобляться Полонию и не согласимся слишком быстро, что облако похоже на верблюда или на кита.

Мы не должны забывать о двух очень важных особенностях таких снов наяву. Во-первых, они связаны с определенным местом. Это не аллегории отвлеченных понятий, скорее это конкретизированные метафоры. Поэт чувствует тайну этого, вот этого леса, а не науки о лесоводстве или департамента лесных угодий. Он поклоняется своей любимой горе, а не отвлеченной идее высоты. Тот или другой бог — не столько вода, сколько река или, может быть, море, потому что море неповторимо, как ручей.

Конечно, многие божества превратились в стихии, но они больше чем вездесущи. Аполлон не просто разлит повсюду, где светит солнце, — его дом в Дельфах. И Диана так велика, что может быть в трех местах сразу — на земле, под землей и в небе; но выше всех — Диана в Эфесе. Это ощущение конкретности в самой низшей своей форме породило фетиши и талисманы, такие же, как безделушки в автомобилях наших богачей.

Но оно может вызвать к жизни серьезную, высокую веру, связанную с высоким и серьезным долгом, — веру в богов города и даже богов очага.

Во-вторых, верования язычников предельно искренни и предельно неискренни. В каком смысле верил афинянин, что должен приносить жертвы Афине Палладе? В каком смысле доктор Джонсон действительно думал, что должен трогать все столбы на улице или собирать апельсиновую кожуру? В каком смысле верит ребенок, что он должен ступать через одну плитку на тротуаре? Ученому трудно ответить на это; но более или менее ясно вот что; во-первых, в более простые времена такие действия могли стать весомей — и не стать серьезней.

Грезить наяву можно было и днем, гораздо свободней, но это не избавляло вас от легкого шага сомнамбулы. Облачите доктора Джонсона в древнюю

мантию, увенчайте (с его разрешения) цветами, пустите по улицам под древним утренним небом — и он будет трогать священные столбы, украшенные лицами странных богов, охраняющих землю и жизнь человека. Выпустите ребенка на мрамор и мозаику древнего храма, и он с удовольствием обнародует свою тайную привычку, исполнив на черных и белых квадратах серьезный красивый танец.

Но столбы и плиты древности и серьезней, и легче нынешних. Они серьезны, как серьезно искусство, выражающее в символах вполне реальные вещи, лежащие под внешней пленкой жизни. Они серьезны, как искусство, — но не как нравственность. Чудаческая страсть к апельсиновым шкуркам может обернуться апельсинами южного карнавала или золотыми яблоками южного мифа. Но тот, кто собирает корки, и тот, кто их не собирает, отличаются друг от друга совсем не так, как тот, кто дает апельсин нищему, и тот, кто аккуратно разложит корки на земле, чтобы нищий поскользнулся и по возможности сломал себе ногу.

Ребенок не думает, что ступить на черную плитку так же плохо, как наступить собаке на хвост. И что бы ни чувствовал, ни думал, ни выдумывал Джонсон, трогая деревянные столбы, это было совсем не то, что чувствовал он и думал, когда протягивал руки к странным полоскам дерева, которые дали смерть Богу и вечную жизнь людям.

Скажу еще раз: это совсем не значит, что в мифах не было реальности или даже веры. Церковь с огромным успехом переняла эти глубоко народные традиции — она тоже дает людям местную легенду и прекрасную церемонию. Пока такое язычество невинно и естественно, оно может находиться под покровительством святых, как находилось под покровительством богов.

Вообще же сами поверья не одинаково серьезны. Можно верить, что в лесу живут феи, — нередко это просто значит, что соседний лес очень подходит для фей. Можно делать крюк в мило, чтобы его обойти. И красота, и страх — вещи реальные, и тот, кто коснется их, даже в сомнении или сказке, коснется глубин души. Это понимаем мы, понимали и язычники. Вся разница в том, что язычники, в сущности, только этими сомнениями и сказками касались глубин души; вот почему, говоря об античности, ученые замечают у величайших поэтов Эллады очень странное для нас, христиан, отношение к богам. Люди и боги постоянно враждовали, и не совсем ясно, кто был прав, кто виноват.

Эту неясность мы находим не только у скептика Еврипида в «Вакханках» — от нее не свободен умеренный консерватор Софокл в «Антигоне» и даже такой твердолобый тори, как Аристофан в «Лягушках». Иногда мне кажется, что греки прежде всего верили в поклонение, а поклоняться было некому. Все зыбко и смутно, все дробится и расплывается, потому что все это — гадание и грезы. Нет архитектурных правил для воздушных замков.

Могучее древо мифологии раскинуло ветви над всем миром. Как пестрые птицы, расселись на них драгоценные идолы Азии и грубые фетиши Африки, короли и принцессы лесных сказок, лары латинян, полускрытые оливами и виноградом, и веселые, властные боги греков. Все это мифы; а тот, кто не любит мифов, не любит людей. Но тот, кто особенно любит мифы, понимает, что они

никогда не были религией, если мы называем религией христианство или даже ислам.

Они утоляют некую часть тех нужд, которые удовлетворяет религия. Так, человек непременно хочет делать определенные вещи в определенное время, он должен во что бы то ни стало упорядочить свое веселье. Мифы дают календарь, но это еще не вера. Никто не говорил: «Верую в Юпитера, и Юнону, и Нептуна», так, как мы читаем Символ Веры. Многие верили именно в этих богов, многие верили в любых, а в сущности — все верили во всех.

Языческие боги не знали священной иерархии, за неприкосновенность которой люди отдали бы жизнь и претерпели муки. Еще менее вероятно, что кто-нибудь говорил: «Верую в Одина, и Тора, и Фрейю», — вне Олимпа даже олимпийский порядок кажется слишком строгим. Мне кажется, Тор был не богом, а героем. Самое захудалое божество самой захудалой религии не стало бы ползать, как пигмей в темной пещере, которая оказывается рукавицей гиганта.

Этот миф пропитан героическим неведением приключения. Тор -- великий искатель приключений, на Ягве он похож не больше, чем Джек Победитель великанов; Один же кажется мне настоящим варварским вождем, каких было много в Темные века первого тысячелетия. Политеизм чахнет, разветвляясь в сказки и предания; никто не охраняет его так, как охраняют монотеизм убежденные монотеисты.

Мифология удовлетворяет и другую потребность — выплакать кому-нибудь свои печали или воззвать к кому-то в трудный час, когда рождается твой ребенок или гибнет твой город. Но очень и очень часто люди зывали только к имени. И наконец, удовлетворяла она, хотя бы отчасти, очень глубокую потребность человека: поделиться с неведомыми силами, вылить вино на землю, выбросить кольцо в море — потребность в жертве. Люди чувствуют и мудро, и верно: нельзя пользоваться всем, надо положить хоть что-нибудь на другую чашу весов, чтобы уравновесить нашу утлую гордыню или заплатить дань природе.

Все великие греческие трагедии знали, что наглая вседозволенность опасна, что она нам не по плечу, — потому они и велики. Но этой глубокой догадке вторит глубокий подсознательный агностицизм: жертвующий не ведает, кому приносит жертву. Нередко нам кажется, что человек станет лучше, потеряв быка, но вряд ли бог станет лучше, получив его.

Иногда говорят, что очень глупо и грубо верить, что боги на самом деле едят жертвенное мясо. Те, кто так говорят, не понимают психологии грез. Ребенок, верящий в то, что в дупле живет леший, может делать ему грубые, вполне вещественные подарки, например оставить кусок пирога, тогда как утонченный, достойный поэт принесет дриаде фрукты или цветы. Оба одинаково серьезны или несерьезны. Конечно, язычники — не атеисты, но они и не верующие в нашем христианском смысле. Они ощущают присутствие каких-то сил, и гадают о них, и выдумывают.

У греков был алтарь неведомого бога. На самом деле, все их боги — неведомые; и изменилось это лишь тогда, когда апостол Павел сказал им, Кого они, не зная, чтити.

Сущность язычества можно выразить так: оно пыталось открыть тайны высшей реальности с помощью одного воображения. Очень важно понять, что разум отделен от религии даже в самых рациональных из языческих цивилизаций. Только задним числом, когда культы вырождаются и вынуждены защищать себя, неоплатоники или брамины пытаются рационализировать их, точнее, выразить их в аллегориях. На самом же деле реки мифологии и философии текли параллельно и смешались они только в христианстве.

Простодушные секуляристы еще твердят, что Церковь внесла раскол между разумом и верой. На самом же деле Церковь первая попыталась объединить веру с разумом. До нее жрецы и философы не были в союзе. Мифология искала Бога на путях воображения; она искала истину через красоту, если понимать под красотой и совершенное, причудливое уродство. У воображения свои законы и свои победы, которых не понять философам и ученым.

Мифы бесконечно причудливы и неправдоподобны, как пантомима — свинья съедает месяц, землю кроют из коровы. Но в судорогах и странностях азиатского искусства, в застылости египетских фигур, во всех надтреснутых зеркалах, искажающих землю и смещающих небо, мифология остается истинной в том же смысле, в каком художник, остановившись перед домом или деревом, говорит: «Моя мечта сбылась». Вот почему нам так нелегко противиться магии мифов, пока мы достаточно мудры, чтобы не спрашивать об их смысле.

Все мы чувствуем, почему Прометей украл огонь с неба, пока какой-нибудь умник, или пессимист, или поборник прогресса не полезет с объяснениями. Все мы знаем, почему Джек взобрался по бобовому стеблю, пока нам это не растолкуют. В этом смысле верно, что сказки — любимое чтение невежд; ведь именно невежды поистине ценят поэзию. У воображения свои законы и свои победы.

Огромная сила лепила все эти образы из мечты или из глины, плела из бамбука, высекала в мраморе Эллады. Но что-то было неверно — эти победы не приносили полной радости. Я никак не могу это выразить; попытаюсь сказать яснее хотя бы в заключение.

Вся суть, все дело в том, что для человека естественно поклоняться. Пусть идол суров и уродлив — молящийся добр и прекрасен. Человек ощутил, что, склоняясь, он свободнее, более того, он выше. Безверие — рабство, и вынести его нелегко. Если человек не может молиться, он задыхается; если он не может встать на колени, он в оковах. И вот все язычество пропитано странной смесью неверия и веры.

Когда древний грек выливал вино на пиру или поднимал меч, он знал, что делает достойное дело, одно из тех дел, для которых человек создан. Воображение его не обманывало. Но именно потому, что начал он с фантазии, он кончил насмешкой. В высшей своей форме эта насмешка оборачивается почти нестерпимой иронией греческой трагедии, где алтарь не под стать жрецу

или бог не под стать алтарю. Так и кажется, что жрец важнее, даже священнее бога.

Весь порядок храма весом и здрав, он сообразен каким-то долям нашей души — весь, кроме сердцевины, зыбкой, словно пляшущее пламя. Храм построен вокруг вымысла, порою вокруг причуды. Человек встречается здесь с богом, но сам он величавей и достойней своего кумира. Быть может, он застыл в естественной и благородной позе Молящегося мальчика, но поклоняется он Протею, даже если называет его Зевсом, Аполлоном или Аммоном.

Молитва его не удовлетворяет, а выражает потребность; руки воздеты, но они пусты. О природе этой потребности я скажу дальше, сейчас только замечу: этот верный инстинкт, это чувство, что молитва или жертва дают нам свободу, напоминают, хоть и смутно, об огромной, полузабытой идее всеобщего Отцовства, которая все больше бледнела в утреннем небе. В идее этой истина, но не вся.

Язычник, прирожденный поэт, чувствовал, что прав, отводя своему божеству определенное, укромное место. Это — в самой душе поэзии, если не в душе благочестия. Величайший из поэтов говорил, что поэт дает нам не абсолют и не вечность, а дом и имя. Ни один поэт не может быть только пантеистом. Даже тот, кто называет себя так, вдохновляется чем-нибудь очень местным, конкретным, как вдохновляется язычник.

Шелли писал о жаворонке, и мы не можем переложить эти стихи для Южной Африки, заменив его страусом. Мифологическое воображение движется как бы кругами, оно что-то ищет или хочет куда-то вернуться. Словом, мифы — это поиски; потому и слито в них неутомимое желание с неутолимимым сомнением. Миф жадно и честно ищет какое-то место и, отыскав его, проявляет глубокую, странную, загадочную беспечность.

Только до этой границы может довести одинокое воображение, дальше приходится обратиться к одинокому разуму.

Вот почему сами по себе мифы не похожи на религию или на реальность, где разные измерения сочетаются, словно в объемном теле. Пейзаж на картине может быть точно таким же, как пейзаж в природе; но картина — не природа. Портрет может быть совсем «как живой», с той лишь разницей, что он — не живой. В этом загадочном, зыбком мире портрет предшествовал Лицу и потому был довольно туманным. Но каждый, кто дышал и жил атмосферой мифа, поймет меня, если я скажу, что они, в определенном смысле, и не претендовали на реальность.

Язычники видели сны о жизни и первыми признали бы, что одни сновидения проходят через врата из слоновой кости, а другие — через врата из рога. Сны — живее живого, когда они касаются сокровенных и мучительных вещей. и ты просыпаешься, словно у тебя разбилось сердце. Снова и снова возвращались древние к неизбыточно трогательным темам прощания и встречи, обрывающейся жизни и смерти, открывающей новую жизнь.

Деметра бродит по миру, ищет пропавшую дочь, Изида тщетно собирает расчлененное тело Озириса, горы плачут по Аттису, леса — по Адонису, и

скорбь сочетается с глубоким, мистическим чувством, говорящим, что смерть может даровать свободу и мир, а вся радость в том, чтобы собирать разрозненное тело бога. Мы можем по праву назвать это тенью истины, только надо помнить, что тень не больше чем тень.

Сравнение очень подходит здесь, ибо тень повторяет форму, но сама она невещественна. Тень подобна предмету, а значит, они различны. Если что-то похоже на собаку — это не собака. Именно в этом смысле бог мифа — не Богочеловек. Никто не думал об Изиде как о реальной женщине; никто не искал Деметру в истории; никто не видел в Адонисе основателя Церкви. Словом, и мысли не было, что кто-либо из них изменил мир; скорее их смерть и жизнь несли печальное и прекрасное бремя мирской изменчивости.

Мы вообще ничего не поймем, если не увидим, что для мифа мы — только тени, гоняющиеся за тенью. В некоем священном и здоровом смысле миф намекал, что какой-то бог нужен людям, но и слова не сказал о том, что этот бог у них есть. Всякий же, кто это скажет, плохо разбирается в поэзии.

Те, кто толкуют о «языческих Христах», понимают язычников еще меньше, чем христиан. Они меньше, чем мы, понимают, что сделало греческую и римскую древность такой человеческой и почему античная поэзия до сих пор звенит в воздухе, как песня.

Немилосердно доказывать голодному, что голод ничем не хуже пищи. Вы не сможете юноше, если станете его убеждать, что надежда заменяет счастье. С таким же успехом можно сказать, что мальчик, играющий в разбойников. — то же самое, что солдат в окопах, а первые мечты о «ней» — то же самое, что таинство брака. Эти вещи глубоко различны именно в том, в чем поверхностно похожи; можно даже сказать — различны, когда вполне похожи.

Дело не в том, что в одно я верю, а в другое — нет. Разница проста: одно — реально, другое — нет. Я хочу сказать, что миф никогда и не считали реальным в таком смысле. В каком смысле он реален, я пытался описать, но вряд ли смог, слишком это неуловимо — так неуловимо, что ученые этого не уловили. Но мы, неученые, знаем лучше их, что звучит в гулком крике над мертвым Адонисом и почему у Великой Матери дочь обручилась со смертью.

Мы проникли глубже, чем они, в Элевсинские мистерии, которые, дверь за дверью, охраняли то, что ведал Орфей. Мы знаем последнюю тайну, которую слышит человек на высшей ступени посвящения.

Он слышит не голос священника или пророка, возвещающий: «Это — есть», но голос мечтателя и поэта, взывающий: «О, если бы это было!»

Часть I, глава 6: Бесы и философы

Я уже говорил о том, что поэтическое язычество усеяло землю храмами и расцветило ее красками празднеств. Мне кажется, что история дохристианского мира делится на две эпохи. Вначале такое язычество боролось с тем, что хуже его; потом само стало хуже. Причудливый, разнообразный, нередко зыбкий политеизм был подточен слабостью первородного греха. Кто-то сказал, что языческие боги играли в людей, как в кости; и действительно, люди похожи на меченые кости.

Особенно неразумны, можно даже сказать, безумны люди во всем, что связано с полом, и нелегко им стать здоровыми, пока они не стали святыми. Груз греха пригибал книзу крылатые фантазии, и оттого конец язычества — какая-то свалка, в которой кишат боги. Однако мы не должны забывать, что прежде античное язычество выдержало и выиграло борьбу с другим, худшим видом язычества и победа его определила человеческую историю.

Мы этого не поймем, если не разберемся во второй разновидности. Надеюсь, мне удастся рассказать о ней короче, чем о первой, — о таких вещах не следует говорить долго. Первый вид язычества мы сравнили со сновидением; этот я сравню с кошмаром.

Суеверия возвращаются в любом столетии, особенно в века разума. Помню, я защищал христианство перед целым банкетом прославленных агностиков, и у каждого из них, в кармане или на цепочке от часов, был какой-нибудь талисман. Только я один не обзавелся фетишем. Суеверие царит в эпохи разума, ибо оно связано с вполне разумной вещью — сомнением, во всяком случае — с неведением. Люди чувствуют, что, во-первых, мы не знаем законов мироздания, а во-вторых, эти законы могут противоречить так называемым законам логики.

Люди поняли, и поняли правильно, что серьезные события нередко зависят от маленьких, пустячных. Когда до них доходит слух, что то или иное невинное действие — ключ к каким-то важным событиям, глубокий и далеко не бессмысленный инстинкт подсказывает им, что это вполне вероятно. Этот инстинкт силен в обеих разновидностях язычества. Но во второй из них он изменился и стал ужасным.

Мне кажется, я не ошибусь, предположив, что вызывание духов, при всей его практической пользе, не играло главной роли в поэтическом действе мифотворчества. Но когда мы вступаем в область суеверий как таковых, все меняется, становится глубже я темнее. Конечно, почти все народные приметы так же легкомысленны, как и народные легенды. Никто не считает, что нас непременно поразит гром, если мы пройдем под лестницей; скорее мы думаем: «Обойду-ка я ее на всякий случай...» Мы просто признаем, что не знаем законов такого странного мира.

Но есть другие суеверия, в которых главное — польза, так сказать, суеверия практичные. Здесь много важнее, ответят духи или нет. Сам я уверен, что духи иногда отвечают; но есть тут одна тонкость, породившая немало зла.

Потому ли, что грехопадение отбросило нас ближе к злым обитателям духовного мира, или потому, что одержимый страстью больше верит в зло, чем в добро, черная магия ведовства более практична, хотя и менее поэтична, чем белая магия мифотворчества. Мне кажется, садик ведьмы лучше прибран, чем роща дриады, дурное поле — плодороднее хорошего. Какой-то порыв, быть может отчаянный, толкает человека, ищущего пользы, к темным силам зла. Нездоровое ощущение исподтишка овладевает им; он чувствует, что на эти силы можно положиться, что они помогут «без дураков».

Действительно, боги мифов слишком глупы в том хорошем, веселом смысле этого слова, в котором мы применяем его к джамблям или к Бармаглоту. Человек же, обратившийся к бесу, чувствовал то, что чувствуют, обратившись к сыщику, особенно частному: работа, что и говорить, грязная, но этот не подведет. Люди не шли в рощу, чтобы встретиться с нимфой, скорее они мечтали о встрече с ней, как мечтают о приключении. А бес действительно являлся на свидание и даже выполнял обещанное, хотя нередко человек и жалел потом, что он не нарушил слова.

На примере многих неразвитых и диких племен можно проследить, как культ бесов часто сменял культ богов и даже единого божества. Может быть, существо это казалось слишком далеким, чтобы обращаться к нему по мелочам. Мысли о том, что бесы не подведут, вторит другая мысль, совсем уж достойная бесов: человек хочет стать достойным их, приноровиться к их разборчивому вкусу. Простые суеверия подсказывают нам, что пустяк, например щепотка соли, может тронуть скрытую пружину, приводящую в действие загадочный механизм мира.

В таком «Сезам, откройся» есть доля истины. Но когда человек обращается к злым силам, он чувствует, что действие должно быть не только мелким, но и мерзким. Рано или поздно он сознательно заставляет себя сделать самое гнусное, что может, чувствуя, что лишь крайнее зло привлечет внимание сил, таящихся под поверхностью. Вот в чем причина едва ли не всякого каннибализма. Это — не первобытный и даже не зверский, то есть не звериный, обычай. Каннибализм — искусственен, даже изыскан, как истинное «искусство для искусства».

Люди едят людей вовсе не потому, что не видят в этом ничего плохого. Они прекрасно знают, что это ужасно, потому и едят. Ученые нередко обнаруживают, что очень простые племена — скажем, австралийцы — не занимаются людоедством, а много более развитые — скажем, маори — иногда занимаются. Они достаточно изысканны и умны для сознательного беспоклонства, как парижский декадент — для черной мессы. Черную мессу приходится прятать потому, что есть настоящая, бесы прячутся после пришествия Христа.

До христианства, особенно вне Европы, все обстояло иначе. Бесы бродили на воле, как драконы; их сажали на престол, как богов. Огромные статуи стояли в храме, в самом сердце многолюдного города. Повсюду видим мы это, но этого не замечают те, кто считает зло симптомом грубого невежества. Не у дикарей — у высших цивилизаций рога Сатаны вздымались не только к звездам, но и к солнцу.

Возьмем, к примеру, ацтеков и прочих обитателей древних царств Мексики и Перу, чья цивилизация не ниже египетской или китайской и отличается лишь от той срединной цивилизации, к которой принадлежим мы. Ругая нашу цивилизацию, мы почему-то не только обличаем ее пороки — это наш долг, но и превозносим ее жертвы. Мы принимаем на веру, что до прихода европейцев всюду был рай.

Меня всегда удивляли строки из «Предрассветных песен», где Суинберн, говоря об Испании, замечает, что «ее грехи и ее сыны — в сердце безгрешных стран...», а потому «все проклинали имя людей и трижды — имя Христа». Испанцы, что и говорить, грешили немало, но почему Суинберну кажется, что жители Южной Америки вообще не грешили? Неужели целый материк был заселен архангелами или душами из рая? Того, что сказал он, не скажешь о самых достойных наших знакомых; особенно же странно это читать, если мы вспомним, что мы доподлинно знаем об этих царствах.

Знаем мы, что безгрешные жрецы безгрешного народа поклонялись безгрешным богам, для которых нектаром и амброзией были человеческие жертвы, сопровождавшиеся страшными пытками. В мифологии южноамериканских цивилизаций можно найти тот дух извращения, насилия над природой, о котором писал Данте. Дух этот есть везде, где есть извращенная вера, беспоклонство. Заметен он не только в этике, но и в эстетике.

Южноамериканский идол уродлив до предела, как прекрасен до предела греческий бог. Вероятно, создатели его искали тайну могущества, насилуя свою природу и природу вещей. Они надеялись создать из золота, камня, темно-красной древесины лицо, при одном взгляде на которое небо треснуло бы, словно зеркало.

Во всяком случае, нет сомнения, что раззолоченная цивилизация Центральной Америки снова и снова приносила в жертву людей. Насколько мне известно, у эскимосов этого не было, — куда им, они не так цивилизованны, им мешает белая зима и долгая тьма, холод и голод подавили их высокий порыв. Вот на ярком солнце, в богатых просвещенных землях люди беспрепятственно рвались к пучеглазым, ослабившимся мордам и в страхе или под пыткой выкликали имена, несладкие, как смех в аду. Климат получше и цивилизация повыше породили пламенные цветы, окрасившие золотом и пурпуром тот сад, который Суинберн сравнил с садом Гесперид. Что-что, а дракон там был.

Сейчас я не собираюсь говорить подробно об Испании или даже о Мексике. Я говорю о них мимоходом, потому что отношение к ним похоже на отношение к Риму и Карфагену. В обоих случаях мы, англичане, почему-то осуждаем европейцев и защищаем их противников, которых Суинберн назвал безгрешными, хотя их грехи просто вопиют. Карфаген тоже был весьма цивилизован, гораздо цивилизованней инков. Он тоже основал цивилизацию на религии страха.

Нашу расу и нашу веру, без сомнения, нужно ругать за то, что они не следуют собственным меркам и идеалам. Но зачем же считать при этом, что они пали ниже других народов и вер, у которых прямо противоположные идеалы и мерки? Христианин действительно хуже язычника, испанец — хуже индейца и

даже римлянин хуже карфагенянина, но только в одном смысле. Он хуже потому, что его прямое дело — быть лучше.

Извращенное воображение порождает вещи, о которых лучше бы не говорить. Некоторые из них можно назвать, не причинив вреда, потому что крайнее зло кажется невинным тому, кто его не знает. Эти дела бесчеловечней бесстыдства. Чтобы не блуждать больше в темных тупиках, я отмечу только одну черту — мистическую ненависть к самой идее детства. Мы поймем лучше, почему ведьмы вызывали такую ярость, если вспомним: чаще всего их обвиняли в том, что они мешают женщинам рожать детей.

Ветхозаветные пророки непрестанно предостерегали против служения идолам, тесно связанного с детоубийством. Вполне возможно, что такое отпадение от Бога повторялось позже в истории Израиля; конечно, ритуальные убийства могли совершать не правоверные иудеи, а только одинокие и незаконные беспоклонники. Люди чувствовали, что злые силы особенно опасны детям, потому так и любили в средние века легенду о мученике-младенце. Чосер только рассказал по-своему английское предание, когда представил самую гнусную ведьму в виде чужой женщины, которая, притаившись за изгородью, слушает, как маленький святой поет на улице, словно ручеек бежит по камню.

Именно этот дух царил в том восточном углу Средиземноморья, где кочевники постепенно стали торговцами и принялись торговать со всем миром. Успех их был велик, так велик, что владыки Тира едва ли заметили бы, что одна из вельможных невест вышла замуж за вождя какого-то племени, называемого иудеями, а торговцы африканского форпоста презрительно скривили бы толстые губы при упоминании деревушки, называемой Римом.

Сильно отличались друг от друга монотеизм палестинского племени и добродетель италийской республики. Очень разные, несовместимые вещи любили консулы Рима и пророки Израиля; но ненавидели одно и то же. Нетрудно счесть их ненависть несправедливой и злой и превратить в бесчеловечных фанатиков Илию или Катона. Да, и те и другие были в чем-то ограниченными и разделяли предрассудки своей земли. Но, осуждая их, мы упускаем из виду нечто конкретное и ужасное — то самое, чему посвящена эта глава.

Цивилизация Тира и Сидона была прежде всего практична. Она оставила нам мало изображений и не оставила стихов. Она кичилась своей практичностью, а в религии следовала тому довольно странному ходу мыслей, о котором я уже говорил. Людям такого типа кажется, что есть кратчайший путь к успеху, и тайна их поразила бы мир своей бесстыдной основательностью.

С богом своим, Молохом, они вели себя по-деловому. Об этом я буду говорить не раз; сейчас только отмечу, что они тоже по-особому отнеслись к детям. Вот почему к ним самим относились с такой яростью и слуги Единого Бога, и хранители лавров. Вот что бросало вызов тем, кто во всех смыслах далек друг от друга; тем, чей союз был призван спасти мир.

Четвертую и последнюю разновидность язычества я назвал философией, любовью к мудрости. Признаюсь сразу, что в этот раздел я занесу многое, что

называют иначе, чаще всего — религией. Надеюсь, однако, что я не погрешу против истины и против вежливости. Прежде всего, нам следует рассмотреть философию в ее чистом виде. Такую философию мы найдем в мире самых чистых форм — в той средиземноморской цивилизации, чьи мифы рассматривали мы в предыдущей главе.

Многобожие для язычников — совсем не то, что католичество для католика. Оно никогда не было мировоззрением, полной истиной, объясняющей все на свете. Мифология удовлетворяла одни потребности, с другими вопросами обращались в другие инстанции. Очень важно понять, что философия не имела с мифологией ничего общего. Они были так различны, что не могли как следует поспорить. Толпы совершали возлияния в честь Адониса или затевали игры в честь Аполлона, а несколько человек предпочитали остаться дома и подумать о природе вещей. Иногда они думали о природе Бога, вернее, о природе богов. Но очень и очень редко они противопоставляли свои выводы богам природы.

Говоря о первых поборниках отвлеченного, надо помнить, какими отвлеченными, отрешенными, рассеянными они были. Человек мог заниматься мирозданием, но это был его конек, частное дело вроде нумизматики. Иногда его мудрость становилась общим достоянием, даже общественным учреждением, но ее почти никогда не ставили в ряд с другими народными, религиозными установлениями. Аристотель был, наверное, величайшим из философов, во всяком случае самым здравомыслящим, но он и не ставил абсолют рядом с Аполлоном, как не думал Архимед поклоняться рычагу.

Один размышлял о метафизике, другой — о математике из любви к истине, из любопытства или ради забавы. Но забавы эти не слишком мешали другим — пляскам, песням и непристойным рассказам о том, как Зевс обратился в лебедя или быка. Философы, даже скептики ничуть не мешали народному культу; и мне кажется, это — еще одно доказательство его поверхностности. Мыслители переворачивали мир, не меняя очертаний яркого облачка, повисшего в небе.

Мир они и впрямь перевернули, хотя, по странному соглашению, не стали переворачивать город. Два великих мудреца античности защищали здравые и даже священные идеи. Их мысли в наши дни кажутся ответами на наши сомнения, но ответы эти так полны, что о них не вспоминают. Аристотель заранее уничтожил сотни анархистов и полоумных поклонников «естественного», определив человека как общественное животное. Платон предвосхитил христианский реализм, провозгласив, что идеи реальны, как люди. Правда, идеи были для него подчас реальней людей. Он был немного похож на фабианцев, которые мечтают приноровить своего идеального гражданина к городу, голову — к шляпе, и, при всем своем величии, стал отцом утопистов.

Аристотель предвосхитил полнее священное здравомыслие, объединившее душу и тело вещей, — он рассуждал о природе человека, а не о природе нравственности и видел не только свет, но и глаза. Оба великих философа создали и сохранили многое, но жили они в мире, где мысль могла идти куда угодно. Немало великих мыслителей следовало им; одни превозносили отвлеченную добродетель, другие, порассудительней, — погоню за счастьем.

Первых называли стоиками, и это слово вошло в поговорку, потому что оно выражает одну из очень важных нравственных потребностей — укрепить свою душу так, чтобы она вынесла беду и даже боль. Однако многие выродились в тех, кого мы и сейчас зовем софистами. Они стали профессиональными скептиками, задавали неприятные вопросы и неплохо жили тем, что мешали жить людям нормальным. Может быть, случайное сходство с ними породило ненависть к великому Сократу, чья смерть может показаться опровержением моих слов о постоянном перемирии между философами и богами.

Но Сократ не был монотеистом, гибнущим в борьбе против многобожия, и уж никак не был пророком, низвергающим идолов. Всякому, кто умеет читать между строк, ясно, что его осудили — справедливо ли, нет ли — потому, что он, лично он влиял на нравы, а может, и на политику. Перемирие не прекращалось — потому ли, что греки несерьезно относились к мифам, или потому, что они несерьезно относились к философским учениям. Жрец и философ не вступили в смертельную борьбу, означавшую конец одного из них, ни разу не примирились толком и уж точно не сотрудничали, в крайнем случае философ был соперником жреца. Боги и философы, наделенные властью, неплохо уживались в одном и том же обществе.

Может быть, наименее чистой философией было учение Пифагора, оно ближе всех стоит к восточной мистике, о которой я скажу в свой черед. Пифагор был как бы мистиком математики, полагавшим, что высшая реальность — это число. Еще он, по-видимому, действительно верил в переселение душ, как брамины, и оставил в память о себе знакомые нам привычки, вроде трезвости или вегетарианства, присущие восточным мудрецам, особенно тем, которые вхожи в модные салоны времен упадка.

Но прежде чем перейти к восточной мудрости и атмосфере, мы рассмотрим довольно важную истину и придем к ней круглым путем.

Один великий философ мечтал о том, чтобы цари стали философами или философы — царями. Говорил он так, словно это слишком хорошо, чтобы сбыться; на самом деле это нередко сбывалось. Мне кажется, историки не воздали должного тем, кого можно назвать философами на троне. Начнем с того, что мудрецу иногда удавалось стать пусть не основателем религии, но основателем уклада.

Прекрасный тому пример, один из самых великих в мире, перенесет нас за тридевять земель, через огромные пространства Азии, в мир причудливых и по-своему мудрых идей и установлений, от которого мы дешево отделяемся, произнося слово «Китай». Многим странным богам поклонялись люди, многим идеалам служили и многим идолам. Китай выбрал веру в разум. Он, может быть единственный в мире, принял разум всерьез. В незапамятнейшие времена он решил проблему власти и мудрости, сделав мудреца советником властелина.

Он сделал человека общественным установлением и вменил ему в обязанность только одно — быть умным. По тому же принципу создал Китай много других правил и установлений. Ранг и привилегии он обусловил чем-то вроде экзамена; здесь нет ничего общего с нашей аристократией, это скорее демократия, власть принадлежит не самым знатным, а самым умным. Но сейчас

для нас важно, что мудрецы действительно правили страной и один из них был, наверное, великим государственным мужем.

Я не считаю Конфуция основателем или хотя бы проповедником религии. Может быть, он вообще не верил в Бога. Атеистом он, конечно, не был; скорее всего, он был, как мы сказали бы, агностиком. Говорить о его религиозной системе так же нелепо, как говорить о теологии Роланда Хиля, создавшего современную почту, или Баден-Пауэла, отца бойскаутов. Конфуций не принес людям небесную весть, он упорядочил Китай, по-видимому, очень успешно. Естественно, ему пришлось немало заниматься нравственностью, но он накрепко соединил ее с ритуалом.

Особенность его системы и его страны, их отличие от христианства в том, что он требовал скрупулезного соблюдения всех внешних форм, дабы гладкость повседневной жизни охраняла покой души. Всякий, кто знает, как тесно связаны привычки с телесным и даже душевным здоровьем, поймет, что это разумно. Но еще он поймет, что почитание предков и священной особы императора — обычай, а не вера. Несправедливо говорить, что он не основал религии, так же несправедливо, как доказывать, что Иеремия Бентам не был христианским мучеником.

Не только в Китае философ правил государством или был другом правителю. Это не случайно, это тесно связано с довольно щекотливым вопросом о месте философа в мире. Философия и мифология редко доходили до открытого разрыва не только потому, что мифотворец страдал легкомыслием, но и потому, что философ не был лишен высокомерия. Мудрец презирал мифы, презирал толпу и считал, что лучшего она не заслужила. Он редко бывал человеком из народа, а если и бывал — старался об этом забыть: еще реже бывал он демократом и почти всегда горько критиковал демократию.

В языческом философе была какая-то барственная лень, и в этой роли легко могли выступить те, кому довелось родиться властелином. Вельможе или правителю нетрудно было поиграть в философа, как играл Тезей у Шекспира. С очень Древних времен живут на свете царственные интеллектуалы. Об одном из них нам говорят едва ли не древнейшие источники, — он сидел на престоле Египта.

Эхнатон, которого называют фараоном-еретиком, — единственный, кто до Рождества Христова пошел войной на общую всем мифологию во имя своей, частной философии. Большинство других мудрецов походило на Марка Аврелия, которого по праву можно считать образцом философа на троне. Его обвиняли в том, что он терпел и языческий амфитеатр, и гонения на христиан. Но как же иначе? Такие люди считают народные верования чем-то вроде балагана.

Профессор Филимор сказал о Марке Аврелии: «Он был великим, хорошим человеком и это знал». Фараон-еретик был и серьезней, и смиренней. Если ты слишком горд, чтобы бороться, бороться приходится смиренным.

Египетский фараон был достаточно прост, чтобы всерьез отнестись к собственной философии, и, единственный из всех мудрецов на троне, совершил переворот. Он властно низверг высоких богов и поднял, как зеркало

единобожия, диск единого солнца. Были у него и другие занимательные идеи, присущие идеалистам его типа. Например, в искусстве он был реалистом, потому что был идеалистом, — ведь реализм немислимей всех идеалов. Но и его поразил недуг Марка Аврелия — он был интеллектуалом, дух же интеллектуальности так крепок, что его не вытравить даже из мумии.

Фараон-еретик, как многие еретики, ошибался в одном: ему и в голову не пришло спросить себя, нет ли чего-нибудь в верованиях и сказках людей менее образованных, чем он. Как я уже говорил, что-то в них было. Здоровой и человеческой была их тяга к пестроте и укромности, любовь к очарованным местам и к богам, похожим на больших домашних животных. Может быть, природу зовут не Изидой, может быть, Изида не ищет Озириса, но естество и впрямь чего-то ищет — оно ищет сверхъестественного.

Жажду эту могло удовлетворить нечто гораздо более вещественное; монарх со сверкающим диском ее не удовлетворил. Опыт его провалился, суеверие восторжествовало, и жрецы, встав на плечи народа, взошли на царский престол.

Другой пример монарха-мыслителя — Гаутама, великий Будда. Я знаю, что его обычно не причисляют к философам, но я убеждаюсь все больше и больше, что именно в этом разгадка его великого дела. Он был несравненно лучше и выше всех багрянородных мудрецов и сделал самое лучшее, что может сделать монарх — отрекся от престола. Марк Аврелий с изысканной иронией учил, что даже во дворце можно хорошо и нравственно жить. Менее уравновешенный египтянин решил, что жить будет лучше после дворцового переворота.

Но только великий Гаутама доказал, что может обойтись без дворца. Один был терпимым, другой — мятежным, но отречение решительней терпимости и мятежа. Наверное, это единственное абсолютное действие абсолютного монарха. Индусский принц, выросший в восточной роскоши, добровольно ушел и стал жить как нищий. Это прекрасно, и все же это — не битва. Это не поход в том смысле слова, в каком мы говорим о крестовых походах.

Жить как нищий может и святой, и философ; и Иероним в пещере, и Диоген в бочке. Те, кто изучил жизнь Будды, во всяком случае те, кто наиболее умно и связно о нем пишет, убеждают меня, что он был философом, успешно основавшим философскую школу, а божественным, даже священным стал по вине азиатского духа, более склонного к тайне и далекого от разума, чем все предания Греции.

Пришла пора остановиться на невидимой, но реальной границе, которую мы пересекаем, переходя из Средиземноморья в таинственный край Востока.

Наверное, меньше всего пользы приносят общие места, особенно когда они верны. Все мы привыкли, говоря об Азии, произносить довольно правильные слова, не замечая, как они правильны. Мы вечно твердили, что Азия стара, или не прогрессивна, или обращена к прошлому. Действительно, христианский мир прогрессивней, но совсем в том смысле, в каком называют прогрессом суетливую страсть к политическим переменам.

Мы, христиане, верим, христианство верит, что человек волен пойти куда угодно и поступать по-разному. Душу может утолить новая жизнь, или старая

любовь, или что-нибудь не менее положительное. Конечно, мы знаем, что все движется ритмично — то поднимается, то падает, — но для нас этот ритм свободен и причудлив. Для Азии же почти всегда он монотонен. Их мир — колесо, а не наша кутерьма.

Эти цивилизованные и мудрые люди как бы вращаются вокруг пустоты, и хуже всего, что этому нет конца. Вот в чем старость и непрогрессивность Азии. Вот почему их изогнутые мечи кажутся нам обломком окружности, а орнамент извивается, как змея, которую нельзя убить. Это очень мало связано с лаком прогресса. Все жители Азии могут надеть цилиндры, но, если дух этот не изменится, они будут знать, что странные шляпы как пришли, так и уйдут, подобно планетам. Им не придет в голову, что, погнавшись за шляпой, можно попасть на небо или домой.

Когда гений Будды явился в мир, ощущение это уже пропитало почти все на Востоке. Он попал в джунгли поразительно странной, почти удушающей мифологии. Конечно, этот по-народному буйный фольклор легче любить, чем высший пессимизм, который мог иссушить его. Однако нельзя забывать, что большая часть восточных мифов и обычаев — просто местные идолы, кумиры. Может быть, это не относится к древнему учению браминов, во всяком случае с точки зрения браминов. Но само это слово напоминает нам о более важном, чем идолы, — о кастах.

Я готов допустить, что в них были некоторые практические достоинства средневековых гильдий. Однако в отличие от христианской демократии, даже от христианской аристократии, общественный ранг действительно связывался здесь с рангом духовным. Это отделяет Индию не только от братства христиан; ступенчатой горой гордыни стоит она между Китаем и Ближним Востоком, которые равноправны по сравнению с ней. Система эта существовала тысячи лет, и в этом тоже проявился дух азиатской неизменности.

Кроме того, можно предположить, что ко времени Будды уже существовало поверье, которое мы с легкой руки теософов считаем буддийским. Самые строгие буддисты отрицают его и уж конечно полностью отрицают теософов. Но свойственно ли оно буддизму, или только его родине, или неверному его толкованию, — оно ничуть не противоречит духу повторения. Конечно, я говорю о переселении душ.

Перевоплощение — совсем не мистическая идея; в сущности, его нельзя назвать даже религиозной идеей. Мистика предполагает хоть какие-то знания о потустороннем; религия ищет лучшего добра или худшего зла, чем те, которые мы знаем. Но перевоплощение повторяет много раз наш здешний, земной опыт. Ничуть не мистичней узнать, что ты делал в Вавилоне задолго до своего рождения, чем узнать, что ты делал в Бристоле до того, как тебя стукнули по голове.

Все это ничуть не похоже на созерцание Бога и даже на изгнание беса. Переселяясь, душа не убежит от колеса судьбы, совсем напротив. Создал ли эту идею Будда, или нашел, или отверг, — она, несомненно, очень типична для той восточной среды, в которой ему пришлось играть свою роль. А роль эта была ролью мудрого философа, создавшего свою теорию о том, как мудро относиться к миру.

Я понимаю, что буддист не согласится признать буддизм философией, если понимать под философией игру ума, в которую играли греческие софисты, жонглировавшие мирами. Наверное, точнее сказать, что Будда создал некую высшую дисциплину, даже дисциплину души. Он сказал, как бежать от вечно возвращающихся горестей: надо избавиться от обмана, называемого желанием.

Он не говорил, что мы обретем что-то лучшее, если кое в чем себе откажем, и не советовал ждать исполнения желаний в другом мире. Он просто хотел, чтобы мы не хотели. Как только ты поймешь, что на самом деле ничего нет и все, в том числе твоя душа, непрестанно куда-то исчезает, ты защищен от разочарований, нечувствителен к переменам и живешь в экстазе равнодушия, если это можно назвать жизнью.

Буддисты зовут это блаженством, и я не буду тратить время на споры; для нас, во всяком случае, это очень похоже на отчаяние. Я не понимаю, например, почему отказ от желаний не распространяется на добрые, не себялюбивые желания. Во всяком случае, Будда больше жалеет людей за то, что они живут, чем за то, что они умирают.

Закончу словами одного умного буддиста: «Буддизм распространен в Китае и Японии потому, что это — не буддизм». Такой буддизм, конечно, уже не философия, это просто мифология. Но уж ни в коей мере он не похож на то, что мы называем Церковью.

Покажется шуткой, если я скажу, что вся история верований — это узор из ноликов и крестиков. Под ноликами я подразумеваю не пустоту — я просто хочу сказать, что форма их отрицательна по сравнению с положительной формой креста. Конечно, этот образ случаен, но очень верен. Дух Азии действительно можно выразить знаком «О», даже если это не ноль, а окружность. Великий восточный образ змеи, закусившей свой хвост, прекрасно передает атмосферу восточной веры и мудрости. Эта замкнутая кривая включает все и никуда не ведет.

О том же говорит и другой восточный знак, колесо Будды, которое обычно зовут свастикой. Крест смело указывает в противоположные стороны, эти же линии стремятся к кругу, словно кривой крест вот-вот обратится в колесо. Раньше, чем вы отмахнетесь от этих произвольных символов, вспомните, каким острым и тонким было чутье народов, выбравших этот символ из символов Запада и Востока. Крест — не только воспоминание, точно, как математический чертеж, он выражает идею борьбы, уходящей в бесконечность.

Другими словами, крест прорывает круг, который — и все, и ничто. Эту мысль можно выразить притчей. По преданию, птицы, благословленные святым Франциском, полетели в разные стороны света, составляя крест в небе. В сравнении с такой свободой свастика — точно кошка, гонящаяся за своим хвостом. Можно сказать и так: с тех пор как святой Георгий метнул копьё в пасть дракона, тому есть, что кусать, кроме собственного хвоста.

Много образов можно использовать для выражения этой мысли, но сама она — абстрактна и непреложна. Христианство имеет дело с весомой, вне нас существующей реальностью, с внешним, а не только с вечным. Оно возвещает,

что мир действительно есть, что мир — это мир. В этом оно совпадает со здоровым смыслом. Но вся история религий показывает, что здоровый смысл гибнет повсюду, где его не хранит христианство.

И как ему не погибнуть, как продержаться, если сама мысль перестала быть здоровой? Можно сказать, что она стала слишком простой. Философы стремились не столько объяснить, сколько упростить все на свете. Нездоровые упрощения привлекали их, как пустота и смерть притягивают стоящего над пропастью. Надо знать совсем другую мудрость, чтобы, стоя на крыле храма, не потерять равновесия и не кинуться вниз.

Одно из очевидных, слишком очевидных объяснений учит нас, что все — иллюзия, сон и нет ничего, кроме сознания; другое — что все повторяется; третье (приписываемое буддизму, во всяком случае восточное) — что вся беда в творении, то есть в нашем пестром разнообразии, и ничего хорошего не будет, пока мы снова не растворимся в безличном единстве.

По этой теории, само сотворение мира — грехопадение. Она сыграла в истории большую роль, потому что много раз вырывалась из темного сердца Азии, чтобы перейти зыбкие рубежи Европы. Ее проповедовал таинственный Мани, отец многих ересей, которого надо бы назвать пессимистом; исповедовал Зороастр, стоявший выше его.

Последнее имя связывают обычно еще с одним из слишком простых объяснений — с тем, что добро и зло равны, что они уравнивают друг друга и борются в каждой песчинке. Зороастр, как и Мани, принадлежал к мудрецам, которых мы можем назвать мистиками. Из того же темного персидского сада прилетел на тяжелых крыльях Митра, неведомый бог, и омрачил поздние сумерки Рима.

Круг или солнечный диск, поднятый на заре мира египетским еретиком, — образец и зеркало многих философий. Они вертели его и так и сяк, нередко сходили от него с ума, особенно когда он вертелся колесом у них в голове. Им казалось, что бытие можно уложить в схему, свести к геометрическим фигурам; и детские рисунки мифотворцев пылко и просто возражали им.

Философы не могли поверить, что религия — не чертеж, а картина. Тем более не могли они поверить, что картина эта изображает реальные, вне нас существующие вещи. Они красили диск черным и назывались пессимистами; красили белым и назывались оптимистами; делили на две части, белую и черную, и назывались дуалистами, как те персидские мистики, которым, будь у меня больше места, я бы воздал должное.

Никто из них ничего бы не понял, когда все стало «как есть», как в жизни, которую чертежник может счесть весьма нечеткой. Словно тогда, в пещере, изумленным взорам предстало нечто похожее на странный, грубый рисунок, и многим казалось, что художник портит чертеж, ибо впервые за все столетия он попытался нарисовать Лицо.

Часть I, глава 7: Схватка богов и бесов

История, сводящая к экономике и политику, и этику, - и примитивна, и неверна. Она смешивает необходимые условия существования с жизнью, а это совсем разные вещи. Точно так же можно сказать, что, поскольку человек не способен передвигаться без ног, главное его дело - покупка чулок и башмаков. Еда и питье поддерживают людей словно две ноги, но бессмысленно предполагать, что не было других мотивов во всей истории. Коровы безупречно верны экономическому принципу - они только и делают, что едят или ищут, где бы поест. Именно поэтому двенадцатитомная история коров не слишком интересна.

Овцы и козы тоже не погрешили против экономики. Однако овцы не совершали дел, достойных эпоса, и даже козы - хоть они и попроворнее - никого не вдохновили на "Золотые деяния славных козлов", приносящие радость мальчишкам каждого века. Можно сказать, что история начинается там, где кончаются соображения коров и коз. Я не думаю, что крестonosцы ушли из дома в неведомые пустыни по той же самой причине, по какой коровы переходят с пастбища на пастбище. Вряд ли кто-нибудь считает, что исследователи Арктики снова и снова тянутся на север по тем же причинам, что и ласточки. Но если вы уберете из истории религиозные войны и подвиги исследователей, она перестанет быть историей.

Теперь принято рассуждать так: люди не могут жить без еды, следовательно, они живут для еды. На самом же деле люди думают не столько об экономическом механизме, поддерживающем существование, сколько о самом существовании. Жизнь важнее для них, чем средства к жизни. Конечно, время от времени человек размышляет о том, какая именно работа даст ему средства и какие именно средства дадут еду. Но за это же время он десять раз подумает, что сегодня хорошая погода или что жизнь - странная штука, или спросит себя, стоит ли жить вообще, или пожалеет, зачем он женился, или порадуется своим детям, или застонет о них, или вспомнит свою юность, или еще как-нибудь задумается о загадочном жребии человека.

Это относится даже к рабам нашей мрачной индустриальной цивилизации, бесчеловечная жестокость которой действительно вытолкнула на первый план экономические вопросы. Это несравненно более верно по отношению к крестьянам, охотникам, рыбакам, составляющим во все времена основную массу человечества. Даже те сухари, которые считают, что этика зависит от экономики, не могут не признать, что экономика зависит от жизни. А большая часть естественных сомнений и мечтаний связана с жизнью как таковой; не с тем, как прожить, а с тем, стоит ли жить.

Доказательства тому - в прямом смысле слова - убийственно просты. Представьте себе, что данный человек собирается не жить, а умирать. Стоит ли профессору политической экономии ломать себе голову над вычислением его будущего заработка? Стоит ли хлопотать о пенсии для мученика, вычислять семейный бюджет монаха? Что делать с тем, кто отправился умирать за родину, или с тем, кому нужен не любой, а свой, единственный на свете клочок земли? Все эти люди не подчиняются экономическим выкладкам. Чтобы понять их,

надо понять и узнать, что же чувствует человек, когда через странные окна глаз он смотрит на странное видение, которое мы зовем миром.

Ни один разумный человек не хотел бы увеличивать количество длинных слов. Но мне все-таки придется сказать, что нам нужна новая наука, которая могла бы называться психологической историей. Я бы хотел найти в книгах не политические документы, а сведения о том, что значило то или иное слово и событие в сознании человека, по возможности - обыкновенного. Я уже говорил об этом в связи с тотемом. Мало назвать кота тотемом (хотя, кажется, котов так не называли), важно понять, кем он был для людей - кошкой Уиттингтона или черным котом ведьмы, жуткой Баст или Котом в сапогах.

Точно так же я хотел бы узнать, какие именно чувства объединяли в том или ином случае простых людей, здравомыслящих и эгоистичных, как все мы. Что чувствовали солдаты, когда увидели в небе сверкание странного тотема - золотого орла легионов? Что чувствовали вассалы, завидев львов и леопардов на щитах своих сеньоров? Пока историки не обращают внимания на эту субъективную или, проще говоря, внутреннюю сторону дела, история останется ограниченной, и только искусство сможет хоть чем-то удовлетворить нас. Пока ученые на это не способны, выдумка будет правдивее факта. Роман - даже исторический - будет реальнее документа.

Такая внутренняя история особенно необходима, когда речь идет о психологии войн. Мы задыхаемся под тяжестью документов, но об этом не находим ни слова. В худшем случае мы читаем официальные воззвания, которые никак не могут быть правдой хотя бы потому, что они официальные. В лучшем - добираемся до тайной дипломатии, которая не выражает чувств народа хотя бы потому, что она тайная. На каких документах основаны, как правило, суждения об истинных причинах той или иной войны?

Правительства боролись за колонии или рынки, за гавани или высокие тарифы, за золотые прииски или алмазные копи. Но правительства вообще не борются. Почему боролись солдаты? Что думали, что чувствовали те, кто делал своими руками это страшное и славное дело? Ни один мало-мальски знающий солдат не поверит ученым, утверждающим, что миллионы людей можно послать на убой из-под палки в прямом смысле слова. Если все дезертируют, кто накажет дезертиров? Да и сравнительно небольшое количество дезертиров может погубить всю кампанию. Что же чувствуют солдаты? Если они действительно верят на слово политикам, то почему? Если вассалы слепо шли за сеньором, что же видели в нем эти слепые люди?

Нам вечно твердят, что люди воюют из-за материальных соображений. Но человек не умирает из-за материальных соображений, никто не умирает за плату. Не было платных мучеников. Призрак "чистой", "реалистической" политики невероятен и нелеп. Попробуйте представить себе, что солдат говорит: "Нога оторвалась? Ну и черт с ней! Зато у нас будут все преимущества обладания незамерзающими портами в Финском заливе". Почему бы война ни начиналась, то, что ее поддерживает, коренится глубоко в душе. Близкий к смерти человек стоит лицом к лицу с вечностью. Если даже его держит страх, страх должен быть прост, как смерть.

Обычно солдатом движут два чувства, вернее, две стороны одного чувства. Первое - любовь к находящемуся в опасности месту, даже если это место называется расплывчатым словом "родина". Второе - ненависть к тому чужому, что ей угрожает.

Первое чувство много разумнее, чем принято считать. Человек не хочет, чтобы его родина погибла или даже просто изменилась, хотя не может припомнить все хорошее, что для него связано с ней; точно так же мы не хотим, чтобы сгорел наш дом, хотя вряд ли можем перечислить все свои вещи. То, за что он борется, кажется поверхностной абстракцией, на самом же деле это и есть дом.

Второе чувство не менее сильно, более того, благородно. Люди сражаются особенно яростно, когда противник - старый враг, вечный незнакомец, когда в полном смысле этих слов они "не выносят его духа". Так относились французы к пруссакам, восточные христиане к туркам. Если я скажу, что это религиозная распря, вы начнете возмущаться и толковать о сектантской нетерпимости. Что же, скажу иначе: это разница между смертью и жизнью, между тьмой и дневным светом. Такую разницу человек не забудет на пороге смерти, ибо это спор о значении жизни.

В самые темные дни мировой войны, когда все мы извелись вконец от боли, страха и тоски по близким, люди давно забыли о тонкостях государственных интересов и не ради них продолжали драться. Они - во всяком случае, те, кого я знаю, - и подумать не могли о поражении, потому что представляли себе лицо германского императора, вступающего в Париж. Это совсем не то чувство, которое мои идеалистические друзья зовут любовью.

Я ничуть не стыжусь назвать его ненавистью, ненавистью к аду и делам его. Хотя, конечно, теперь не верят в ад и потому не обязаны верить в ненависть. Но все это - длинное введение, а понадобилось оно потому, что я хотел напомнить, что такое религиозная война. В такой войне встречаются два мира, как сказали бы сейчас, две атмосферы. Что для одних воздух, для других - отравя. Никого не убедишь оставить чуму в покое. Именно это мы должны понять, даже если нам придется поступиться некоторыми нравственными взглядами, иначе мы не поймем, что же случилось, когда на другом берегу закрыл римлянам небо Карфаген - темный, как Азия, и порочный, как империализм.

Древняя религия Италии была той самой мешаниной, которую мы рассматривали под именем мифологии; но если греки тянулись к мифам, то латиняне как бы тянулись к вере. И там и тут множились боги, но можно сказать, что греческий политеизм разветвлялся, как ветви дерева, а римский - как корни. А может быть, точнее сказать, что у греков дерево цвело, а у римлян склонялось к земле под тяжестью плодов.

Греческие боги поднимались в утреннее небо сверкающими пузырями, латинские плодились и множились, чтобы приблизиться к людям. Нас поражает в римских культах их местный, домашний характер. Так и кажется, что божества снуют вокруг дома, как пчелы, облепили столбы, как летучие мыши, и, как ласточки, приютились под карнизом. Вот бог крыши, вот бог ветвей, бог ворот и даже гумна. Мифы часто назывались сказками. Эти можно сравнить с

домашней и даже няниной сказкой: она уютна и весела, как те сказки, где, словно домовые, говорят стулья и столы.

Старые боги италийских крестьян были, вероятно, неуклюжими деревянными идолами. Там тоже было немало уродливого и жестокого, например тот обряд, когда жрец убивал убийцу. Такие вещи всегда заложены в язычестве, они неспецифичны для римлян. Особенностью же римского язычества было другое: если греческая мифология олицетворяла силы природы, то латинская олицетворяла природу, укрощенную человеком. У них был бог зерна, а не травы, скота, а не охоты. Их культ был поистине культурой.

Многих ставит в тупик загадка латинян. Их религия вьющимся растением обвивает каждую мелочь дома, и в то же время они на редкость мятежны. Империалисты и реакционеры часто приводят Рим как пример порядка и лояльности. На самом же деле было не так. Истинная история древнего Рима гораздо более похожа на историю нового Парижа. Его можно было бы назвать городом баррикад. Говорят, ворота его никогда не закрывались, потому что за стенами всегда шла война; почти столь же верно сказать, что внутри всегда шла революция.

С первых восстаний плебеев до последних восстаний рабов государство, навязавшее мир всему свету, не могло установить его у себя. Сами правители были мятежниками. Но религия в доме и революция на площади связаны очень тесно. Хрестоматийное, но не поблекшее предание говорит нам, что республика началась с убийства тирана, оскорбившего женщину. И действительно, только тот, для кого семья священна, способен противостоять государству. Только он может воззвать к богам очага, более священным, чем боги города. Вот почему ирландцы и французы, чей домашний уклад более строг, так беспокойны и мятежны. Я намеренно подчеркиваю эту сторону Рима - внутреннюю, как убранство дома.

Конечно, римские историки совершенно правы, рассказывая нам о циничных деяниях римских политиков. Но дух, подобно дрожжам, поднимавший Рим изнутри, был духом народа, а не только идеалом Цинцината. Римляне укрепили свою деревню со всех сторон; распространили свое влияние на всю Италию и даже на часть Греции, - как вдруг очутились лицом к лицу с конфликтом, изменившим ход истории.

Я назову этот конфликт схваткой богов и бесов.

На другом берегу Средиземного моря стоял город, называющийся Новым. Он был старше, и много сильнее, и много богаче Рима, но был в нем дух, оправдывавший такое название. Он назывался Новым потому, что он был колонией, как Нью-Йорк или Новая Зеландия. Своей жизнью он был обязан энергии и экспансии Тира и Сидона - крупнейших коммерческих городов. И, как во всех колониальных центрах, в нем царил дух коммерческой наглости. Карфагеняне любили хвастаться, и похвальба их была звонкой, как монеты. Например, они утверждали, что никто не может вымыть руки в море без их разрешения. Они зависели почти полностью от могучего флота, как те два великих порта и рынка, из которых они пришли. Карфаген вынес из Тира и Сидона исключительную торговую прыть, опыт мореплавания и многое другое.

В предыдущей главе я уже говорил о психологии, которая лежит в основе некоторых культов. Глубоко практичные, отнюдь не поэтичные люди любили полагаться на страх и отвращение. Как всегда в таких случаях, им казалось, что темные силы свое дело сделают. Но в психологии пунических народов эта странная пессимистическая практичность разрослась до невероятных размеров. В Новом городе, который римляне звали Карфагеном, как и в древних городах финикийцев, божество, работавшее "без дураков", называлось Молохом; по видимому, оно не отличалось от божества, известного под именем Ваала.

Римляне сперва не знали, что с ним делать и как его называть; им пришлось обратиться к самым примитивным античным мифам, чтобы отыскать его слабое подобие - Сатурна, пожирающего. Но почитателей Молоха никак нельзя назвать примитивными. Они жили в развитом и зрелом обществе и не отказывали себе ни в роскоши, ни в изысканности. Вероятно, они были намного цивилизованней римлян. И Молох не был мифом; во всяком случае, он питался вполне реально. Эти цивилизованные люди задабривали темные силы, бросая сотни детей в пылающую печь. Чтобы это понять, попытайтесь себе представить, как манчестерские дельцы, при бакенбардах и цилиндрах, отправляются по воскресеньям полюбоваться поджариванием младенцев.

Нетрудно было бы рассказать обо всех торговых и политических превратностях той поры, потому что вначале дело действительно сводилось к торговле и политике. Казалось, Пуническим войнам нет конца, и нелегко установить, когда именно они начались. Уже греки и сицилийцы враждовали с африканским городом. Карфаген победил греков и захватил Сицилию. Утвердился он и в Испании; но между Испанией и Сицилией был маленький латинский город, которому грозила неминуемая гибель. И, что нам особенно важно, Рим не желал мириться. Римский народ чувствовал, что с такими людьми мириться нельзя. Принято возмущаться назойливостью поговорки: "Карфаген должен быть разрушен". Но мы забываем, что Рим был разрушен. И первый луч святости упал на него, потому что Рим восстал из мертвых.

Как почти все коммерческие государства, Карфаген не знал демократии. Бедные страдали под безличным и безразличным гнетом богатых. Такие денежные аристократы, как правило, не допускают к власти выдающегося человека. Но великий человек может появиться везде, даже в правящем классе. Словно для того, чтобы высшее испытание мира стало особенно страшным, в золоченом чертоге одного из первых семейств вырос начальник, не уступающий Наполеону. И вот Ганнибал тащил тяжелую цепь войска через безлюдные, как звезды, перевалы Альп. Он шел на юг - на город, который его страшные боги повелели разрушить.

Ганнибал продвигался к Риму, и римлянам казалось, что против них встал волшебник. Две огромные армии утонули в болотах слева и справа от него. Все больше и больше воинов затягивал омут Канн. Высший знак беды - измена натравливала на погибающий Рим новые племена. А пестрая армия Карфагена была подобна парадному шествию народов: слоны сотрясали землю, словно горы сошли с мест, гремели грубыми доспехами великаны галлы, сверкали золотом смуглые испанцы, скакали темные нубийцы на диких лошадях пустыни, шли дезертиры, и наемники, и всякий сброд, а впереди двигался полководец, прозванный Милостью Ваала.

Римские авгуры и летописцы, сообщавшие, что в эти дни родился ребенок с головой слона и звезды сыпались с неба, как камни, гораздо лучше поняли суть дела, чем наши историки, рассуждающие о стратегии и столкновении интересов. Что-то совсем другое нависло над людьми - то самое, что чувствуем мы все, когда чужеродный дух проникает к нам как туман или дурной запах.

Не поражение в битвах и не поражение в торговле внушало римским жителям противные природе мысли о знаменьях. Это Молох смотрел с горы, Ваал топтал виноградники каменными ногами, голос Танит-Неведомой шептал о любви, которая гнуснее ненависти... Боги очага падали во тьму под копытами, и бесы врвались сквозь развалины, трубя в трубу трамонтаны. Рухнули ворота Альп, ад был выпущен на волю. Схватка богов и бесов, по всей очевидности, кончилась. Боги погибли, и ничего не осталось Риму, кроме чести и холодной отваги отчаяния.

Ничего на свете не боялся Карфаген, кроме Карфагена. Его подтачивал дух, очень сильный в преуспевающих торговых странах и всем нам хорошо знакомый. Это - холодный здравый смысл и пронизательная практичность дельцов, привычка считаться с мнением лучших авторитетов, деловые, широкие, реалистические взгляды. Только на это мог надеяться Рим. Становилось яснее ясного, что конец близок, и все же странная и слабая надежда мерцала на другом берегу. Простой, практичный карфагенин, как ему и положено, смотрел в лицо фактам и видел, что Рим при смерти, что он умер, что схватка кончилась и надежды нет, а кто же будет бороться, если нет надежды?

Пришло время подумать о более важных вещах. Война стоила денег, и, вероятно, в глубине души дельцы чувствовали, что воевать все-таки дурно, точнее, очень уж дорого. Пришло время и для мира, вернее, для экономии. Ганнибал просил подкрепления; это звучало смешно, это устарело, на очереди стояли куда более серьезные дела... Так рассуждали лучшие финансовые авторитеты, отмахиваясь от новых и новых тревожных и настойчивых просьб. Из глупого предрассудка, из уверенности деловых обществ, что тупость - практична, а гениальность - глупа, они обрекли на голод и гибель великого воина, которого им напрасно подарили боги.

Почему практичные люди убеждены, что зло всегда побеждает? Что умен тот, кто жесток, и даже дурак лучше умного, если он достаточно подл? Почему им кажется, что честь - это чувствительность, а чувствительность - это слабость? Потому что они, как и все люди, руководствуются своей верой. Для них, как и для всех, в основе основ лежит их собственное представление о природе вещей, о природе мира, в котором они живут; они считают, что миром движет страх и потому сердце мира - зло. Они верят, что смерть сильнее жизни и потому мертвое сильнее живого. Вас удивит, если я скажу, что люди, которых мы встречаем на приемах и за чайным столом, - тайные почитатели Молоха и Ваала. Но именно эти умные, практичные люди видят мир так, как видел его Карфаген. В них есть та осязаемая грубая простота, из-за которой Карфаген пал.

Он пал потому, что дельцы до безумия безразличны к истинному гению. Они не верят в душу и потому в конце концов перестают верить в разум. Они слишком практичны, чтобы быть хорошими; более того, они не так глупы, чтобы верить в какой-то там дух, и отрицают то, что каждый солдат назовет

духом армии. Им кажется, что деньги будут сражаться, когда люди уже не могут. Именно это случилось с пуническими дельцами. Их религия была религией отчаяния, даже когда дела их шли великолепно. Как могли они понять, что римляне еще надеются? Их религия была религией силы и страха - как могли они понять, что люди презирают страх, даже когда они вынуждены подчиниться силе? В самом сердце их мироощущения лежала усталость, устали они и от войны - как могли они понять тех, кто не хочет прекращать проигранную битву? Одним словом, как могли понять человека они, так долго поклонявшиеся слепым вещам; деньгам, насилию и богам, жестоким, как звери?

И вот новости обрушились на них: зола повсюду разгорелась в пламя, Ганнибал разгромлен, Ганнибал свергнут. Сципион перенес войну в Испанию, он перенес ее в Африку. Под самыми воротами Золотого города Ганнибал дал последний бой, проиграл его, и Карфаген пал, как никто еще не падал со времен Сатаны. От Нового города осталось только имя - правда, для этого понадобилась еще одна война. И те, кто раскопал эту землю через много веков, нашли крохотные скелеты, целые сотни - священные остатки худшей из религий. Карфаген пал потому, что был верен своей философии и довел ее до логического конца, утверждая свое восприятие мира. Молох сожрал своих детей.

Боги ожили снова, бесы были разбиты. Их победили побежденные; можно даже сказать, что их победили мертвые. Мы не поймем славы Рима, ее естественности, ее силы, если забудем то, что в ужасе и в унижении он сохранил нравственное здоровье, душу Европы. Он встал во главе империи потому, что стоял один посреди развалин.

После победы над Карфагеном все знали или хотя бы чувствовали, что Рим представлял человечество даже тогда, когда был от него отрезан. Тень упала на него, хотя еще не взошло светило, и груз грядущего лег на его плечи. Не нам судить и гадать, каким образом и когда спасла бы Рим милость Господня; но я убежден, что все было бы иначе, если бы Христос родился в Финикийской, а не в Римской империи.

Мы должны быть благодарны терпению Пунических войн за то, что через века Сын Божий пришел к людям, а не в бесчеловечный улей. Античная Европа наплодила немало собственных бед - об этом мы скажем позже, - но самое худшее в ней было все-таки лучше того, от чего она спаслась. Может ли нормальный человек сравнить большую деревянную куклу, которая забирает у детей часть обеда, с идолом, пожирающим детей? Врагу, а не сопернику отказывались поклоняться римляне. Не о хороших дорогах вспоминали они и не о деловом порядке, а о презрительных, наглых усмешках. И ненавидели дух ненависти, владевший Карфагеном.

Мы должны им быть благодарны за то, что нам не пришлось свергать изображения Венеры, как свергли они изображения Ваала. Благодаря их непримиримости, мы не относимся непримиримо к прошлому.

Если между язычеством и христианством - не только пропасть, но и мост, мы должны благодарить тех, кто сохранил в язычестве человечность. Если через столько веков мы все-таки в мире с античностью, вспомним хоть иногда, чем

она могла стать. Благодаря Риму груз ее легок для нас и нам не противна нимфа на фонтане или купидон на открытке.

Смех и печаль соединяют нас с древними, нам не стыдно вспомнить о них, и с нежностью видим мы сумерки над сабинской фермой и слышим радостный голос домашних богов, когда Катулл возвращается домой, в Сирмион: "Карфаген разрушен".

Часть I, глава 8: Конец света

Однажды летом я сидел на лугу в Кенте под сенью маленькой деревенской церкви и беседовал со спутником моих тогдашних странствий. Он принадлежал к кружку эксцентриков, которые исповедовали собственную новую религию и называли ее Высшей Мыслью. Я был достаточно посвящен в нее, чтобы учуять дух высокомерия, и надеялся, что на следующих ступенях дойду и до мысли.

Мой приятель был эксцентричнее их всех, но о жизни он знал гораздо больше, чем они, потому что немало побродил по свету, пока они размышляли в своих аристократических предместьях. Невзирая на сплетни и слухи, я предпочитал его им всем и с удовольствием отправился бродить с ним; а в лесу мне то и дело казалось, что загорелое лицо, густые брови и козлиная бородка придают ему сходство с Паном. Итак, мы сидели на лугу, лениво глядя на вершины деревьев и шпиль деревенской церкви.

Вдруг мой спутник сказал: «А вы знаете, почему этот шпиль так торчит?» Я ответил, что не знаю, и он беспечно бросил: «То же самое, что обелиски. Фаллический культ». Я взглянул на него — он лежал на спине, задрал к небу козлиную бородку, — и вдруг он показался мне не Паном, а дьяволом. Не меньше секунды я чувствовал то же самое, что чувствовали люди, когда жгли ведьм; но тут ощущение чудовищной нелепости спасло меня. «Ну конечно, — сказал я, — если бы не фаллический культ, он бы стоял на острие».

Мой спутник, по-видимому, не обиделся — кажется, он не слишком серьезно относился к своим научным мнениям. Мы встретились случайно, больше я его не видел и думаю, что он уже умер. Но, хотя это не имеет никакого отношения к делу, я хочу назвать вам имя этого адепта высшей мысли и знатока древних символов, во всяком случае, то имя, под которым он стал известен. Это был Луи де Ружмон.

Нелепый, как в детском стихе, образ Кентской церкви, стоящей на кончике шпиля, приходит мне на ум, когда я слушаю разговоры о языческих культах, и раблезианский смех спасает меня. Он помогает мне относиться к знатокам древних и новых религий, как к бедному Луи де Ружмону. Воспоминание о нем стало для меня меркой. И я пользуюсь ею, чтобы сохранить нормальный взгляд не только на христианскую церковь, но и на языческие храмы. Многие говорят о язычниках то, что он говорил о христианах.

Современные язычники жестоки к язычеству. Друзья человечества слишком строго судят о том, во что человечество верит. Теперь принято считать, что всегда и повсюду эти верования сводятся к темным тайнам пола, что с самого начала они бесстыдны и бесформенны. Я этому не верю. Я никогда не увидел бы в поклонении Аполлону то, что Ружмон увидел в поклонении Христу. Я никогда не думал, что в греческом городе царил дух, который он отыскал в кентской деревне.

Все время — даже в этой последней главе о последней, упадочной поре античности — я настаиваю снова и снова, что лучшая сторона язычества

победила худшую. Лучшее победило, завоевало мир, правило миром — и приближалось к гибели.

Если мы не поймем этого, мы ничего не поймем в упадке античности. Пессимизм — не усталость от плохого, а усталость от хорошего. Отчаяние приходит не тогда, когда ты пресытился страданием, а когда ты пресытился весельем. Когда по той или иной причине хорошие вещи уже не служат своему делу — пища не кормит, лекарства не лечат, благословение не благословляет, — наступает упадок.

Можно даже сказать, что в обществе, где ничего хорошего не было, нет и точки отсчета, неоткуда падать. Вот почему коммерческие олигархии типа Карфагена застывают ослабившимися мумиями и никогда нельзя сказать, молоды они или бесконечно стары. Карфаген, к счастью, умер; самое страшное нападение бесов на смертных было отбито. Но что толку от смерти дурного, если умирает хорошее?

Отношения Рима и Карфагена в какой-то мере повторялись в отношениях Рима со многими близкими ему нормальными народами. Не спорю, римские государственные деятели действительно плохо обращались с коринфскими и греческими городами. Но неверно думать, что римское отвращение к греческим порокам было чистым лицемерием. Я совсем не считаю римлян идеальными рыцарями — мир не знал настоящего рыцарства до христианских времен. Но я верю, что у них были человеческие чувства. Дело в том, что поклонение природе привело греков к отвратительному извращению; их довела до беды худшая из софистик — софистика простоты.

Они пошли наперекор естеству, поклоняясь природе, отошли от человечности, превознося человека. Конечно, в определенном смысле Содом и Гоморра лучше, человечнее Тира и Сидона. Когда мы вспоминаем бесов, пожирающих детей, мы понимаем, что даже греческий разврат лучше пунического сатанизма. Но мы ошибаемся, если в отвращении к разврату увидим чистое фарисейство. Расскажите про культ Ганимеда юноше, которому посчастливилось вырасти нормальным и мечтать о любви. Он даже не будет шокирован — ему просто станет противно. И это первое впечатление окажется правильным.

Наше циничное равнодушие — просто обман зрения, иллюзия привычности. И нет ничего странного в том, что по-сельски чистые римляне содрогались от одних слухов о таких делах — содрогались почти так же, как от жестокости Карфагена. Именно потому, что гнев их был меньше, они не разрушили Коринф, как разрушили Карфаген. Но если вы все же считаете, что плохое отношение к грекам было вызвано только государственными и торговыми интересами, я скажу вам, что, как ни прискорбно, вы не понимаете некоторых вещей и потому вам не понять латинян.

Вы не понимаете демократии, хотя, без сомнения, много раз слышали это слово и нередко произносили его. Вся свою мятежную жизнь Рим тянулся к демократии; ни государство, ни политика ничего не могли сделать, не опираясь на демократию — на ту демократию, которая прямо противоположна дипломатии. Именно благодаря римской демократии мы знаем так много о римской олигархии.

Современные историки не раз пытались объяснить славу и победы Рима продажностью и делячеством — словно Курций подкупил македонских воинов или консул Нерон обеспечил себе победу из пяти процентов. Однако о пороках патрициев мы знаем только потому, что плебеи их разоблачали. Карфаген был пропитан сделками и подкупом. Но там не было толпы, которая посмела бы назвать своих правителей взяточниками.

Римляне были слабы, римляне грешили, как все люди, — и все же возвышение Рима действительно было возвышением здравого смысла и народности. Особенно здоровой и народной была ненависть к извращению; у греков же оно вошло в обычай. Оно до того вошло в обычай, стало литературной условностью, что римские писатели и сами подражали ему. Но это — одно из непременных осложнений снобизма; а глубже, за пленкой моды, дух этих двух сообществ был совершенно различен.

Действительно, Вергилий взял темы из Феокрита; но вряд ли кому-нибудь покажется, что их пастухи похожи. Сам Вергилий воспевает прежде всего естественные, нравственные и здоровые вещи — умеренность, патриотизм, сельскую честь. Ведя рассказ об осени древнего мира, я хотел бы остановиться подробнее на имени того поэта, который в таком высоком смысле воплотил зрелость и ясную печаль осени.

Всякий, прочитавший хоть несколько строчек Вергилия, знает: кто-кто, а он понимал, что значит для человечества нравственное здоровье. Две черты великого римского поэта особенно важны для нашей темы. Во-первых, его патриотический эпос основан на падении Трои, — другими словами, Вергилий славит Трою, несмотря на то, что она пала. Он возвел к троянцам свой любимый народ и положил начало великой троянской традиции, которая проходит через всю средневековую и современную литературу. С легкой руки Вергилия она вышла за пределы литературы и стала легендой о священном достоинстве побежденных.

Эта традиция — одна из немногих — подготовила мир к приходу христианства и особенно — христианского рыцарства. Мужество человека, припертого к стене, помогло пронести цивилизацию сквозь бесконечные поражения Темных веков и варварских войн, в которых родилось рыцарство; а стена эта была стеной Трои. И в средние века, и в Новое время европейцы, подобно Вергилию, возводили свои народы к героическим троянцам. Самые разные люди считали великой честью называть своим предком Гектора. Никто, кажется, не пытался возводить свой род к Ахиллу.

Показательно даже то, что троянское имя вошло в наши святцы, и мальчиков крестят Гекторами в далекой Ирландии, а греческое имя мы слышим очень редко, и звучит оно претенциозно. А прославление Трои тесно связано с тем духом, из-за которого многие считали Вергилия почти христианином. Словно из одного дерева сделаны два орудия Промысла — божественное и человеческое; только деревянного коня Трои можно сравнить (и поставить рядом) с деревянным крестом Голгофы. Не так уж кощунственна дикая аллегория: младенец Христос на деревянной лошадке сражается с драконом деревянным мечом.

Во-вторых, Вергилий по особому относился к мифологии, точнее, к фольклору, к народным верованиям и сказкам. С первого взгляда ясно, что лучшее в его поэзии связано не с пышностью Олимпа, а с простыми деревенскими божествами. Вероятно, полнее всего выразился этот дух в эклогах, утвердивших навсегда прекрасную легенду об аркадских пастухах. Нам трудно это понять, потому что по воле случая его литературные условности не похожи на наши.

Нет ничего более условного, чем жалобы на условность старой пасторальной поэзии. Мы не понимаем, что хотели сказать наши предки, потому что судим об их творениях со стороны. Нам смешно, что пастухов делали из фарфора, — и вот мы забываем спросить, зачем их делали вообще. Мы привыкли считать «веселых поселян» оперными персонажами, а следовало бы подумать, почему есть фарфоровые пастушки и нет фарфоровых лавочников, почему не вышивают на скатертях торговки в изящных позах, почему в опере веселятся поселяне, а не политики.

Потому что древнее чутье и юмор подсказывали человечеству, что условности городов куда менее нормальны и счастливы, чем обычаи деревни. Вряд ли современный поэт может написать эклогу об Уолл-стрит и невинно резвящихся миллионерах. Ключ к тайне «веселого поселянина» в том, что поселяне действительно веселы. Мы в это не верим потому, что, ничего о них не зная, не можем знать и об их веселье. Конечно, настоящий пастух очень мало похож на идеального, но идеал не обязательно отрицает реальность. Чтобы создать условность, нужна традиция. Чтобы создать традицию, нужна истина.

Пасторальная поэзия, конечно, была чистой условностью, особенно в упадочных обществах. Это в упадочном обществе пастухи и пастушки Ватто слонялись по садам Версаля. В другом упадочном обществе пастухи и пастушки заполнили бледные творения эпигонов Вергилия. Но это не дает нам права отмахиваться от умирающего язычества, не разобравшись, чем оно жило. Мы можем сказать, что их искусство до отращения искусственно, но они не стремились к искусственности. Напротив, они поклонялись естественному и потому потерпели поражение.

Пастухи умирали, потому что умирали их боги. Язычество жило поэзией — той поэзией, которую зовут мифологией. Везде, а особенно в Италии, эта мифология и поэзия были тесно связаны с сельской жизнью, именно этой сельской религии пастухи в немалой степени обязаны «сельскими радостями». Только тогда, когда общество стало умнее и старше, стали видны те слабости мифологии, о которых я говорил в соответствующей главе. Религия мифов не была религией. Другими словами, она не была действительностью. Это был разгул юного мира, упивавшегося вином и любовью.

Мифотворчество выражало творческую основу человека; однако даже с эстетической точки зрения мифология давно уже стала перегруженной и запутанной. Деревья, выросшие из семени Юпитера, стали джунглями, а не лесом; в расприх богов и полубогов мог бы разобраться скорее турист, чем поэт. И не только в эстетическом смысле все это разваливалось, теряло форму; распускался цветок зла, заложенный в самом семени поклонения природе, каким бы естественным оно ни казалось.

Как я уже говорил, я не верю, что поклонение природе непременно начинается с поклонения полу, — я не принадлежу к школе де Ружмона и не верю, что мифология начинается с эротики. Но я совершенно уверен, что мифология ею кончается. Не только поэзия становилась все более безнравственной — безнравственность становилась все более гнусной. Греческие пороки, восточные пороки, старые гнусности семитских бесов слетались к слабеющему Риму, как мухи на свалку. Здесь нет ничего загадочного для любого человека, пытающегося рассматривать историю изнутри.

Наступает вечерний час, когда ребенку надоедает «представлять», он устал играть в разбойников или краснокожего индейца. Именно тогда он мучает кошку. Приходит время в рутине упорядоченной цивилизации, когда человек устаёт от игры в мифологию, устаёт повторять, что дерево — это девушка, а луна влюбилась в мужчину. Результаты этой усталости везде одинаковы — будь то пьянство, или наркотики, или другие способы «расшевелить себя». Люди гонятся за все более странными пороками, все более страшными извращениями, чтобы расшевелить притупившиеся чувства. Именно потому кидаются они к безумным религиям Востока. Чтобы пощекотать нервы, они не остановятся и перед ножами жрецов Ваала. Они засыпают на ходу и хотят разбудить себя кошмарами.

Песни крестьян звучали в лесах все тише и тише. Сельская цивилизация увядала, а может быть, и увяла. Империя была организована, и в ней царил тот дух рабства, который всегда приходит с успехом организованности. Она почти достигла той степени рабовладения, к которой стремится наша промышленность. Вы много раз слышали и читали, что сегодня бывшие крестьяне стали чернью городов, зависящей от кино и пособий, — в этом отношении, как и во многих, мы вернулись не к юности, а к старости язычества.

Сердце ушло из язычества вместе с богами очага, богами сада, поля и леса. Пан умер, когда родился Христос. Точнее, люди узнали о рождении Христа, потому что умер Пан. Возникла пустота — исчезла целая мифология, и в этой пустыне можно было бы задохнуться, если бы в нее не хлынул воздух теологии. Но об этом я скажу позже.

Теология — это система, догма, даже если мы с ней не согласны. Мифология никогда не была догмой, никто не исповедовал ее и не отрицал. Она была настроением; а когда настроение умерло, вернуть его никто не смог. Люди не только перестали верить в богов — они обнаружили, что никогда в них не верили.

Сумерки окутали Аркадию, и печально звенели в лесу последние ноты свирели. В великих поэмах Вергилия мы уже чувствуем эту печаль. Конечно, домашней нежностью полны многие его строчки, например та, которую Беллок считает пробным камнем поэта: «*Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem*» («Мальчик, мать узнавай и ей начинай улыбаться» — Вергилий, «Буколики», IV. 60. — Перевод С. Шервинского). Но и сама семья, как и у нас, стала ломаться под грузом порабощения и перенаселения городов. Городская толпа стала просвещенной, то есть потеряла ту силу, которая помогала ей творить мифы.

По всему Средиземноморью люди пытались заменить культ богов побоищами гладиаторов. Не лучше обстояли дела у интеллектуальных аристократов античности, которые бродили и беседовали со времен Сократа и Пифагора. Они начали понимать, что ходят по кругу, повторяют одно и то же. Философия стала забавой, а забава прискучила. Противоестественно и бесполезно сводить все на свете к чему-нибудь одному. Все — добродетель: или все — счастье; или все — судьба; или все — добро; или все — зло. Что же делать дальше?

Мудрецы выродились в софистов, они загадывали загадки и переливали из пустого в порожнее. И, как всегда в такие времена, они пристрастились к магии. Привкус восточного оккультизма вошел в моду в лучших домах. Если философ стал салонной забавой, почему бы ему не стать фокусником?

В наше время нередко сетуют на то, что средиземноморский мир был слишком мал, что ему не хватало горизонтов, которые бы открылись перед ним, если бы он знал другие части света. Но это — иллюзия, одна из обычных иллюзий материализма. Дальше язычество пойти не может. В самом лучшем случае, в других краях оно достигло бы того же самого.

Римским стоикам не нужно было знать китайцев, чтобы научиться стоицизму. Пифагорейцам не нужны были индусы, чтобы научиться простой жизни или вегетарианству. Они уже взяли с Востока все, что могли, — даже слишком много. Синкретисты не меньше, чем теософы, верили, что все религии — одно. Вряд ли они научились бы чему-нибудь лучшему у ацтеков или у инков. Остальной же мир лежал во тьме варварства.

Повторю еще раз: Римская империя была высшим достижением человечества, но акведуки ее были перечеркнуты страшной таинственной надписью. Люди больше ничего не могли сделать.

Эта надпись сообщала не о том, что какой-то царь погибнет, а царство его заберет чужеземец. Сейчас показалась бы хорошей весть о войне или о поражении. Никто на свете не мог завоевать Рим, никто не мог и исправить его. Самый сильный город мира слабел, самые лучшие вещи становились плохими.

Я не устану повторять, что многие цивилизации встретились с цивилизацией Средиземноморья, что она уже стала универсальной. Но эта универсальность никому не была нужна. Люди собрали все, что могли, — и этого оказалось мало. И мифологию, и философию язычества в самом прямом смысле слова осушили до дна.

Правда, расцветала магия, а с ней — третья возможность, которую мы называли поклонением бесам. Но что могла она принести, кроме разрушения? Оставалась четвертая или, точнее, первая — та возможность, которую забыли.

Я говорю о подавляющем, неопишемом ощущении, что у мира есть происхождение и цель, а потому — Творец. Что стало в то время с этой великой истиной в глубине человеческого сознания, очень трудно определить. Несомненно, некоторые стоики видели ее все ясней, по мере того как рассеивались облака мифологии: и, надо сказать, они сделали немало, чтобы заложить основы нравственного единства мира. Евреи все еще ревниво хранили

тайну свою за высокой стеной мессианства, но для тех времен в высшей степени характерно, что некоторые модные люди, особенно модные дамы, увлеклись иудаизмом.

А очень многие именно тогда пришли к небывалому отрицанию. Атеизм стал действительно возможен в то ненормальное время; ведь атеизм — ненормален. Он не только противоречит догме. Он противоречит подсознательному чувству — ощущению, что мир что-то да значит и куда-то идет. Лукреций, первый поборник эволюции, заменил эволюцией Бога, открыл глазам людей беспорядочный танец атомов, доказывающий, по его мнению, что Вселенная есть хаос.

Но ни его могучая поэзия, ни его печальная философия не заставили бы людей поверить, что он прав, если бы не то бессилие и отчаяние, с которым люди тщетно угрожали звездам, видя, как лучшие творения человечества медленно и бесповоротно сползают в болото. Нетрудно поверить, что само бытие — падение, когда видишь, как под собственной тяжестью рушатся лучшие творения человека. Люди поняли, что Бога нет; если бы Он был, в этот самый момент Он поддержал бы и спас мир.

А великая цивилизация жила, продолжались ее скучные жестокости и скучные оргии. Наступил конец света, и хуже всего было то, что свет никак не кончался. Между всеми мифами и религиями Империи был достигнут пристойный компромисс: люди могли поклоняться кому угодно, если, конечно, они соглашались покадить заодно и обожествленному, но терпимому Императору. В этом ничего трудного не было; вообще мир надолго потерял способность считать что-либо трудным.

Где-то что-то натворили члены какой-то восточной секты. Это повторилось, потом повторилось опять и стало почему-то вызывать раздражение. Дело было даже не в том, что эти провинциалы говорили, хотя говорили они вещи по меньшей мере странные. Кажется, они утверждали, что умер Бог и что они сами это видели. Это вполне могло оказаться одной из маний, порожденных отчаянием века, хотя они, по всей видимости, не находились в отчаянии. Они почему-то радовались и объясняли свою радость тем, что Бог разрешил им есть Его тело и пить Его кровь.

По другим сведениям, этот Бог, в сущности, не совсем умер; их извращенное воображение измыслило какие-то чудовищные похороны, когда солнце померкло, — и зря, потому что мертвый Бог поднялся из могилы, как солнце на небе. На этот странный рассказ не обращали особого внимания; люди навидались достаточно странных религий, чтобы заполнить ими сумасшедший дом. Однако что-то было в тоне новых сумасшедших.

Это был всякий сброд — варвары, рабы, бедняки — в общем, люди, не стоящие внимания. Но вели они себя как воины. Они держались вместе и совершенно точно знали, что и кто именно входит в их культ; и хотя они говорили безупречно кротко, в их голосе звенело железо. Люди, повидавшие на своем веку немало систем и религий, не могли разгадать их тайну. Оставалось предположить, что они действительно верят в то, что говорят.

Все попытки вразумить их и объяснить, что незачем огород городить из-за статуй Императора, не вели ни к чему, они словно оглохли. Словно упал метеор из невиданного металла, отличающегося на ощупь от всего, что знала Земля. Тому, кто к ним приближался, казалось, что он ударялся о камень.

Со странной быстротой сновидений менялись на глазах соотношения вещей. Раньше, чем люди поняли, что случилось, эти безумцы кишели повсюду, от них нельзя было просто отмахнуться. О них перестали говорить, старались избегать их. Но вот мы видим новую сцену: мир содрал с них одежды и они, как прокаженные, стоят одни посреди большого пространства.

И снова меняется сцена, и со всех сторон нависли тучи свидетелей, ибо странные вещи творятся с ними. Для безумцев, принесших благую весть, выдуманы новые пытки. Пресыщенное общество словно исследует, почему же мир так взбесился из-за людей на арене; амфитеатр буйствует вокруг них, но они стоят неестественно прямо и спокойно. И тогда, в этот темный час, падает на них впервые ослепительный свет, белый огонь, который они пронесли сквозь сумерки истории.

Этим светом, как ударом молнии, язычники отделили их от себя и увенчали навеки. Враги восславили их и сделали еще необъяснимей. ореол ненависти окружил Церковь Христову.

Часть II: О Человеке, который зовется Христом

Часть II, глава 1: Бог в пещере

Эта книга начинается пещерой; именно с пещерой связывают ученые жизнь первобытного человека, и в пещере нашли древнейшие изображения животных. Вторая половина человеческой истории, подобная новому сотворению мира, тоже начиналась в пещере. И животные были тут, потому что пещера эта служила стойлом для горных жителей у Вифлеема; там и сейчас загоняют скот на ночь в такие ущелья и гроты.

Именно здесь, под землей, приютились двое бездомных, когда хозяева переполненных гостиниц захлопнули перед ними двери. Здесь, под самыми ногами прохожих, в погребке мира, родился Иисус Христос. Господь наш тоже был пещерным человеком. Он тоже рисовал странных, пестрых существ на стене мироздания; но Его рисунки обрели жизнь.

Легенды и поэмы, которым нет и не будет конца, повторяют на все лады невысказанный парадокс: руки, создавшие солнце и звезды, не могли дотянуться до тяжелых голов осла и вола. На этом парадоксе, я сказал бы даже, на этой шутке зиждется вся поэзия нашей веры; и, как всякую шутку, ученые ее не замечают. Они скрупулезно растолковывают, сколь невероятно то, что мы сами подчеркиваем с вызовом, даже со смехом; они снисходительно объясняют, сколь дико то, что мы сами зовем невысказанным; они говорят, что это слишком хорошо, чтобы сбыться, — но ведь это сбылось.

О контрасте между всемогуществом и детской беспомощностью говорили, пели и кричали тысячи раз в гимнах, колядках, картинках, действиях, песнях и проповедях, и нам вряд ли нужен ученый, чтобы мы заметили некую странность. Все же я немного поговорю о ней, потому что она тесно связана с моей темой. В наше время очень любят подчеркивать роль воспитания в жизни, психологии — в воспитании. Нам непрерывно твердят, что первые впечатления формируют характер, и очень беспокоятся, как бы вкус ребенка не был отравлен на всю жизнь плохо раскрашенной игрушкой, нервная система — расшатана неблагозвучной считалкой.

Однако нас сочтут тупыми догматиками, если мы скажем, что есть разница между тем, кто воспитан в христианстве, и другими людьми. Всякий католический ребенок знает по картинкам, всякий протестантский ребенок знает по рассказам о невысказанном сочетании понятий; оно поистине становится одним из его первых впечатлений. Эта разница не теологическая, а психологическая, она долговечней и прочней богословских убеждений. Она, как любят говорить ученые, неискоренима.

Для любого агностика или атеиста, знавшего в детстве Рождество, хочет он того или нет, связаны на всю жизнь два понятия, которые для большей части человечества весьма далеки друг от друга: ребенок и неведомая сила, которая поддерживает звезды. Инстинктом и воображением он соединит их даже тогда, когда разум его не увидит в этом смысла. Для него всегда будет привкус веры в изображении матери с ребенком, привкус жалости и незащитности в страшном

имени Божиим. Но эти понятия связаны не для всех. Они не связаны для китайцев или древних греков, даже таких великих, как Аристотель и Конфуций.

Связывать Бога с младенцем ничуть не логичней, чем связывать тяготение с котенком. Для нас они связаны Рождеством, потому что мы — христиане по психологии, если не по убеждению. Это сочетание идей, как теперь говорят, меняет в корне нашу природу. Тот, кто знает это, отличается от незнающего. Я совсем не хочу сказать, что он лучше, — мусульманин или еврей могут быть лучше его. Просто в его гороскопе пересекаются две линии; всемогущество и беспомощность, божественность и детство рифмуются для него, и это созвучие не померкнет от тысяч повторений. Да, в Вифлееме поистине сошлись противоположности.

В пещере было положено начало тому, что придает христианству такую человечность. Если бы людям понадобился образец бесспорного, неиспорченного христианства, они бы, наверное, выбрали Рождество. Но Рождество очевиднейшим образом связано с тем, что считают (никак не пойму, почему) спорным и надуманным, — с поклонением Пречистой Деве. Взрослые моего детства требовали убрать из церкви Ее статуи с Младенцем.

После долгих препирательств примирились на том, что отняли у Нее Младенца, — хотя, если рассуждать логически, с их собственной точки зрения, это должно быть еще хуже. Может быть, Мать не так опасна, если Ее обезоружить? Во всяком случае, все это похоже на притчу. Нельзя отделить статую матери от новорожденного ребенка, младенец не может висеть в воздухе, собственно говоря, вообще не может быть статуи младенца.

Точно так же не можем мы подумать о Нем, не думая о Матери. В обыкновенной, человеческой жизни мы не можем прийти к новорожденному, не придя тем самым к его матери; мы можем общаться с ним только через мать. Отнимите Христа у Рождества или Рождество у Христа, иначе вам придется смириться с тем, что святые головы — рядом и сияния их почти сливаются, как на старых картинах.

Можно сказать, как ни грубо это звучит, что в тот час, в той складке или трещине серой горы мир был вывернут наизнанку. Раньше благоговейные и удивленные взоры обращались как бы наружу, с этих пор обратились внутрь, к самому маленькому. Бог был вовне, оказался в центре, а центр — бесконечно мал. С этих пор спираль духа центростремительна, а не центробежна.

Во многих смыслах наша вера — религия маленьких вещей. Я уже говорил, что Предание — и в книгах, и в картинах, и в легендах — отдало дань парадоксу о Боге в яслях. Наверное, меньше говорилось о Боге в пещере. Как ни странно, о пещере вообще говорили мало. Рождество Христово переносили в любую страну, в любую эпоху, в любой ландшафт и город, подгоняли к самым разным обычаям и вкусам, — и, это очень хорошо. Всюду мы видим хлев, но далеко не всюду — пещеру. Некоторые ученые по глупости нашли противоречие между преданием о яслях и преданием о пещере, чем доказали, что не были в Палестине. Им мерещится различие там, где его нет, но они не видят его там, где оно есть.

Когда я читаю, например, что Христос вышел из пещеры, как Митра из скалы, мне кажется, что это пародия на сравнительное изучение религий. В каждом предании, даже ложном, есть суть, есть самое главное. Предание о божестве, появляющемся, как Паллада, в расцвете сил, без матери, без детства, по сути своей не похоже на рассказ о Боге, родившемся как самый простой ребенок и совершенно зависевшем от Матери.

Мы можем отдать предпочтение любому из этих преданий, но не можем отрицать, что они — разные. Отождествлять их из-за того, что в обоих есть скала, так же нелепо, как приравнивать потоп к Крещению, потому что и там и здесь есть вода. Миф Рождество или тайна, пещера играет в нем совсем особую роль — она говорит о том, что Бог наш был бездомным изгоем. Однако о пещере вспоминают реже, чем о других атрибутах Рождества.

Причина проста и связана с самой природой возникшего тогда мира. Нелегко увидеть и описать новое измерение. Христос не только родился на земле — Он родился под землей. Первое действие божественной трагедии разворачивалось не выше зрителя, а ниже, на темной потаенной сцене. Почти невозможно выразить средствами искусства одновременные действия на разных уровнях бытия.

Что-то подобное могли изобразить в средние века; но чем больше узнавали художники о реализме и перспективе, тем труднее им становилось изобразить ангелов в небе, пастухов на холмах, сияние в самом холме. Может быть, к этому ближе всего подошли средневековые гильдии, которые возили по улицам вертеп в три этажа, где наверху было небо, внизу ад, а посередине — земля. Но в вифлеемском парадоксе внизу было небо.

В этом одном — дух мятежа, дух перевернутого мира. Трудно выразить или описать заново, как изменила саму идею закона и отношение к отверженным мысль о Боге, рожденном вне общества. Поистине после этого не могло быть рабов. Могли быть и были люди, носящие этот ярлык, пока Церковь не окрепла настолько, чтобы его снять, но уже не могло быть язычески спокойного отношения к рабству.

Личность стала ценной в том особом смысле, в каком не может быть ценным орудие, и человек не мог более быть орудием, во всяком случае — для человека. Эту народную, демократическую сторону Рождества предание справедливо связывает с пастухами — крестьянами, которые запросто беседовали с Владычицей небес. Но с пастухами связано не только это, с ними связано и другое — то самое, о чем я говорил раньше и что замечали нечасто.

Люди из народа — такие, как пастухи, — везде и повсюду создавали мифы. Это они испытывали прежде всех не тягу к философии или сатанизму, а ту потребность, о которой мы говорили, — потребность в образах, приключениях, фантазии, в сказках, подобных поискам, в соблазнительном, даже мучительном сходстве природы с человеком, в таинственной значимости времен года и определенных мест. Они прекрасно поняли, что луг или лес мертвы без повести, а повесть — без героя. Но сухая разумность уже покушалась на неразумные сокровища крестьян, точно так же как рабовладение покушалось на их дома и земли.

Крестьянские сообщества заволакивал сумрак скорби, когда несколько пастухов нашли то, что искали. Повсюду, кроме этого места, Аркадия увядала. Умер великий Пан, и пастухи разбрелись, как овцы. Но, хотя никто об этом не ведал, близился час свершения. Хотя никто об этом не слышал, далеко, в диких горах, кто-то закричал от радости на неведомом языке. Пастухи обрели Пастыря.

То, что они нашли, было очень похоже на то, что они искали. Народ ошибался во многом, но он не ошибался, когда верил, что у святыни есть дом, а божеству ведомы границы пространства и времени. Дикарь, создавший нелепейшие мифы о спрятанном в коробочке солнце или о спасенном боге, которого подменили камнем, ближе к тайне пещеры, чем города Средиземноморья, примирившиеся с холодными отвлеченностями.

Он понял бы лучше, что случилось в мире, чем те, в чьих руках становилась все тоньше и тоньше нить Платонова идеализма или Пифагоровой мистики. Пастухи нашли не Академию и не совершенную республику. Они нашли наяву свой сон. С этого часа в мире не может быть мифов; ведь мифотворчество — это поиски.

Все мы знаем, что народ в рождественских мираклях и песнях одевал пастухов в костюмы своей страны и представлял Вифлеем своей родной деревней. Большинство из нас понимает, как это точно, мудро и тонко, как много здесь христианского, католического чутья. Многие видели грубый деревенский Вифлеем, но мало кто помнит, каким он был у тех, чье искусство кажется нам искусственным. Боюсь, в наше время не всем понравится, что во времена классицизма актеры и поэты одевали пастухов пастушками Вергилия. Но и они были правы. Превращая Рождество в латинскую эклогу, они нащупали одну из самых важных связей человеческой истории.

Мы уже говорили, что Вергилий воплотил дух здорового язычества, победившего нездоровое язычество человеческих жертв. Но даже его здравая добродетель заболела тяжелой болезнью, и спасти ее могла только находка пастухов. Если мир устал от безумия, его может спасти лишь здравомыслие. Но он устал от здравомыслия; что же могло излечить его, если не то, что излечило? Не так уж нелепо представлять себе рождественскую радость аркадских пастушков.

В одной из эклог Вергилия принято видеть пророчество о Рождестве. Но и по другим эклогам, по самой интонации великого поэта мы чувствуем: его бы обрадовало то, что случилось в Вифлееме. В строке «*Inscire, parve puer, risu cognoscere matrem*» звучит что-то большее, чем нежность Италии. Аркадские пастушки нашли бы в этой пещере все то, что было хорошего в последних преданиях латинян; только вместо куклы, сторожащей и скрепляющей семью, они обрели бы родившегося в семье Бога.

И они, и все мифотворцы смело могли радоваться: здесь сбылось не только все мистическое, но и все вещественное в мифах. У мифологии много грехов, но она весома и телесна, как Воплощение. Теперь она могла бы воскликнуть: «Мы видели Бога, и Бог нас видел!» Античные пастушки могли плясать на холмах, посмеиваясь над философами. Однако и философы слышали.

Я не перестану удивляться старой повести о том, как, увенчанные величием царей, облаченные тайной магов, они пришли сюда из восточных стран. Истина, называемая преданием, мудро подарила им безвестность, и они остались для нас таинственными, как их прекрасные имена — Мельхиор, Каспар, Балтазар.

С ними пришел весь мир учености, считавшей звезды в Халдее, созерцавшей солнце в Персии; и мы не ошибемся, приписав им любопытство — перводвигатель ученых. Они могли бы воплощать тот же идеал, если бы звались Конфуцием, Пифагором, Платоном; они были из тех, кто ищет не сказки, но истины. Их жажда истины была жаждой Бога, и они тоже получили свое. Для философов, как и для мифотворцев, Вифлеем восполнил неполное.

Самые мудрые могли бы прийти туда, как и пришли волхвы, и подтвердить то, что было истинного в их учениях, правильного — в их раздумьях. Конфуций нашел бы здесь новые основания семьи, Будда увидел бы отречение от звезд, а не от алмазов — от Божеского, а не от царского сана. Мудрецы имели бы или обрели бы право сказать, что в их учениях есть истина. Но они пришли бы сюда учиться.

Они пришли бы пополнить свои учения тем, о чем и не думали; уравновесить свой несовершенный мир тем, против чего, быть может, возражали. Будда явился бы из безличного рая поклониться Личности. Конфуций оставил бы поклонение предкам, чтобы поклониться Младенцу.

Мы должны понять, что новая Вселенная оказалась вместительнее старой. В этом смысле возникновение христианства шире сотворения мира — того мира, что был до Христа. Христианский мир включает и то, что уже было, и то, чего не было раньше. Хороший пример — китайское почитание старших.

Никто не усомнится, что разумное почтение к родителям входит в Завет, по которому Сам Бог подчинялся в детстве родителям, «был в повиновении у них». Но и они подчинялись Ему, этого не найдешь у китайцев. Младенец Христос не похож на младенца Конфуция — в нашем мистическом чувстве Он останется младенцем навсегда. И я не знаю, что бы делал Конфуций с деревянным младенцем, если бы он ожил в его руках, как ожил он в руках святого Франциска.

В Церкви есть то, чего нет в мире. Мир сам по себе не может обеспечить нас всем. Любая другая система узка и ущербна по сравнению с Церковью; это не пустая похвальба, это — реальность. Найдём ли мы поклонение Младенцу у стойков или сторонников Конфуция? Найдём ли у мусульман Марию — Мать, не знавшую мужа и славнейшую серафим? Найдём ли у тибетских монахов архистратига Михаила, воплотившего для каждого воина честь меча?

Святой Фома Аквинат привел в систему всю ученость и разумность, и даже рациональность христианства. Аристотель тоже достиг вершин разума, однако Аквинат мог понять самые сложные доводы Аристотеля, но Аристотель вряд ли бы понял мистические отступления Фомы. Даже если вы не сочтете христианского философа более великим, чем языческий, вам придется признать его более широким. То же самое относится и к любой философии, ереси, движению. Что бы делал трубадур Франциск среди кальвинистов или

утилитаристов Манчестерской школы? Но Боссюэ и Паскаль не уступали в строгой рассудительности ни кальвинистам, ни утилитаристам.

Что делала бы Жанна д'Арк среди квакеров, духоборов, толстовцев? Но многие наши святые отдали жизнь, проповедуя мир и предотвращая брань. Как ни бьются над этим современные синкретисты, им не удается создать ничего, что было бы шире Церкви. Всякий раз они просто выбрасывают что-нибудь не из Церкви, а из жизни: знамя, или харчевню, или детскую книжку про рыцарей, или плетень в конце поля.

Теософы строят пантеон — но это пантеон для пантеистов. Они созывают парламент вер, думая объединить всех людей, — и объединяют всех умников. Такой самый пантеон был построен у Средиземного моря почти две тысячи лет тому назад, и христианам предложили поставить Христа бок о бок с Юпитером, Митрой, Озирисом, Аттисом, Аммоном. Они отказались, и переломилась история.

Если бы они согласились, и они, и весь мир попали бы в ту тепло-холодную мутную жидкость, в которой уже растворялись мифы и мистерии. Но они отказались — и мир спасся. Мы не поймем, что такое Церковь и почему с давних пор так звенит ее голос, если не поймем, что однажды мир чуть не погиб от широты взглядов и братства всех вер.

Для нас очень важно, что волхвы — мудрецы и мистики — искали нового и нашли то, чего не искали. Ощущение неожиданности живет до сих пор в предании о Рождестве и даже в каждом рождественском празднике. Находка волхвов — как научное открытие. Для других участников этого действия — для ангелов, для Матери, для пастухов и для воинов Ирода — все было, наверное, проще и сверхъестественнее, трогательней и грубее.

Но что искали мудрецы, как не мудрость? Мудрецам нужен свет разума, и они увидели свет. Они увидели, что мудрость церкви объемлет все, а мудрость мудрецов — не все. Если бы Платон, Пифагор и Аристотель постояли хоть минуту в свете, который шел из маленькой пещеры, они бы поняли, что свет их собственных учений — полумрак. Я далеко не уверен, что они об этом не догадывались. Философия, как и мифология, была похожа на поиски.

Именно потому волхвы так таинственны и величавы. Они нашли и открыли, что религия — шире философии и что в маленькой пещере уместилась вся широта религии. Вот почему нас так поражает все, что случилось в пещере. Когда мы читаем или думаем об этом, наши чувства по-детски просты, наши мысли — бесконечно сложны, и мудрость не поможет нам свести концы с концами, если Младенец — Отец, а Мать — Ребенок.

Мифология пришла с пастухами, философия — с волхвами. Но нельзя забывать о третьей стихии — о ней никогда не забывает наша вера и никогда не примиряется с ней. В первых сценах присутствовал враг, испоганивший мифы разворотом и обративший мудрость в неверие. Сейчас он отвечает на прямой вызов и сам действовал прямо, а как он действует, мы уже видели. Говоря о сознательном беспоклонстве, я рассказывал, как ненавидели детей, как приносили людей в жертву, и меньше сказал о том, как культ зла подтачивал

исподволь здоровое язычество, отравлял непристойностью поэзию и обращал в безумие царственную спесь.

В вифлеемском действе проявились и прямое, и косвенное его влияние. Правитель, подчиняющийся Риму, возможно, одетый, как римлянин, и живущий по римскому обычаю, почувствовал в этот час, что из глубин его души поднимаются странные страсти. Все мы знаем о том, как Ирод, встревоженный слухами о сопернике, припомнил жестокости азиатских деспотов и приказал перебить всех детей. Каждый знает об этом; но не каждый заметил, как тесно связано это с историей удивительных человеческих верований.

Не каждый заметил, как знаменательна эта бойня рядом с коринфскими колоннами и римскими плитами поработанного мира, покрытого лоском цивилизации. Когда темная страсть обуяла Ирода, провидец узрел бы за его плечом огромный мрачный призрак, страшную морду Молоха, ожидающего последней жертвы от правителя из Симова рода. На первом пиру христианства на свой собственный лад пировали и бесы.

Если мы забудем об этом, мы не поймем не только сути христианства, но и сути Рождества. Для нас Рождество едино и по-детски просто. Однако, как и все в христианстве, оно и очень сложно. В нем есть и смирение, и веселье, и благодарность, и мистический трепет, и, кроме всего этого, бдение и беда. Это не только праздник миротворцев, как не только праздник весельчаков. Рождество не больше похоже на индийскую мирную конференцию, чем на скандинавский зимний пир.

В нем есть вызов, тот самый, из-за которого звон колоколов так похож на залп победы. Неописуемый дух, который мы зовем рождественским, — словно дым взрыва, прогремевшего в холмах Иудеи почти две тысячи лет назад. Мы и сейчас узнаем его безошибочно, и он слишком неповторим, чтобы определить его словом «мир». По самой своей природе радость в пещере подобна ликованию в крепости или в тайном пристанище изгоя.

Здесь прятались от врага, а враг уже ступал по каменным складкам, нависшим над ними, как небо; копыта Иродовых коней уже гремели над головой Спасителя. Скажу больше: ясли подобны передовому посту лазутчика, который смотрит, притаившись, на вражескую землю. Под башни и дворцы подведен подкоп. Недаром чувствовал царь Ирод, что под ним разверзлась земля.

Наверное, это самая тайная из тайн рождественской пещеры. Люди ищут под землю ад, здесь под землю — небо. Мир перевернулся; с этих пор все великое может действовать только снизу. Король может вернуть корону только мятежом. Церковь, особенно вначале, была не столько властью, сколько мятежом против князя мира сего.

Оптимистов, отождествляющих усовершенствование с удобством, немало раздражает мысль о том, что мы в свое время попали под власть узурпатора. Но именно из-за того, что опасность вполне реальна, Благая Весть стала поистине благой и новой. Олимп неподвижным облаком стоял в небе, мудрость восседала на престоле, когда Христос родился в пещере, а христианство — в катакомбах.

Они прятались под землей — вот он снова, странный и мятежный дух: нашу веру и презирают, и боятся. Пещера — только нора, в которую может забиться всякий сброд; но в ней — сокровище, которое не могут отыскать тираны. Святое Семейство укрылось здесь, потому что хозяин постоянного двора о нем не вспомнил и потому что о нем не забыл царь. То же самое мы вправе сказать и о первых христианах. Их боялись, когда они еще ничего не значили, во всяком случае — ничего не могли.

Тихо, почти тайно они бросили вызов; они вышли из-под земли, чтобы сокрушить землю и небо. Они не собирались разрушать громады из мрамора и золота — они смотрели сквозь них, как сквозь стекло. Христиан обвиняли в том, что они подожгли Рим; но клеветники ближе к сути христианства, чем те, кто считает его каким-то этическим обществом, которое немножко мучили за прописные истины или недолюбливали за безответность.

Ирод играет немалую роль в Вифлеемском действе: из-за его угрозы мы узнаем, что Церковь гонима с самого начала и борется за свою жизнь. Многим покажется, что это как-то несозвучно Рождеству, — но именно так звучат рождественские колокола. Многие считают, что самая мысль о крестовом походе позорит крест — что ж, значит, он опозорен с колыбели. Сейчас я не собираюсь вести отвлеченные споры о том, нравственно ли бороться. Я просто хочу показать, какие понятия входят в нашу веру, и заметить, что все они приняли четкую форму уже в рождественском действе.

Их три, в обычной жизни они глубоко различны, только христианство может их связать. Во-первых, человеку нужно, чтобы небо было определенным и даже уютным, как дом. Поэты и язычники, творя свои мифы, пытались рассказать нам, что бог может обитать в этом, вот этом мифе, что волшебное царство — реальная страна, а возвращение призрака может воскресить тело. Сейчас я говорю не о том, что рационалисты не желали считаться с этой жаждой; я говорю лишь о том, что язычники не могли жить, пока ее не удовлетворят. В истории Вифлеема и позже Иерусалима этого духа не меньше, чем в истории Делоса и Дельфов, но им и не пахнет во Вселенной Лукреция и Герберта Спенсера.

Во-вторых, наша философия шире всех других философий, бесконечно шире учения Спенсера и даже Лукреция. Христианство смотрит на мир через тысячу окон, а древние стоики или наши агностики — через одно. Оно смотрит на жизнь глазами самых разных людей. У него найдется ключ для всех настроений, для всех человеческих типов, ему ведомы тайны психики, бездны зла, оно умеет отличать ложное чудо от истинного, а его тонкость, такт, воображение — многообразны, как реальная жизнь, которую не охватишь заунывными или бодрими трюизмами древней и новой этики. Многого накопилось в нем со времен Аквината, но и святому Фоме было бы тесно в мире Конфуция или Конта.

И наконец, в-третьих, наша вера не только вещественней поэзии и вместительней философии — в ней есть еще и вызов, есть борьба. Она достаточно широка, чтобы принять любую истину, но не примет заблуждения. Любой человек любым оружием может бороться с нею и за нее; она старается как можно лучше узнать и понять то, против чего борется: но никогда не

забывает, что ведет борьбу. Она возвещает мир на земле, но всегда помнит, что была война в небесах.

Эту троицу истин воплотили в рождественском действе пастухи, волхвы и царь, воевавший против младенцев. Просто неверно, что в других религиях и философиях есть это все; нельзя даже сказать, что они на это претендуют. Буддизм, может быть, не менее мистичен, но он и не хочет стать таким же воинственным. Ислам воинствен, но он и не думает стать таким же тонким и возвышенным. Конфуцианство удовлетворяет потребность мудрых в разумности и порядке, но оно и не собиралось удовлетворять тоску по чуду и тайне, по святости конкретных вещей.

Ни один языческий миф или философская притча не трогают нас так сильно, как само слово «Вифлеем». Ни один рассказ о рождении бога или детских годах мудреца не стал Рождеством и даже не похож на него. Он всегда или слишком холоден, или слишком фриволен, или слишком разумен, или груб, или утончен. Слушая его или читая, никто из нас, что бы он ни думал, не ощущает, что пришел домой. Мы можем восхищаться его красотой, или глубиной, или чем-нибудь еще, но не всем сразу.

В том-то и дело, что предание о Рождестве, в отличие от всех преданий, не обращает наши мысли и чувства к величию — к тем исключительным, особенным созданиям, которые зовутся богами и героями, пусть даже самого возвышенного и здравого толка. Оно не гонит нас куда-то вдаль, на край света. Скорее можно сказать, что оно возникает изнутри, встает из тайников сознания; так трогают нас маленькие вещи или тихие добродетели бедных.

Мы находим забытую комнату в глубине нашего дома, открываем дверь — и видим свет; откапываем что-то в глубине сердца — и попадаем в край добра. Сложено это не из того, что мир назвал бы крепким; вернее, крепость в легкости, в невесомости, все это было в нас, но вдруг мимолетное чувство стало вечным.

Это было минутной слабостью, а стало силой и спасением. Несмелая речь и забытое слово окрепли навек, когда волхвы вернулись в дальние страны и умолкли шаги пастухов, а под слоями тьмы и камня осталось то, что человечней человечности.

Часть II, глава 2: Загадки Евангелия

Чтобы понять эту главу, надо вспомнить, в чем суть этой книги. Вся она держится на доказательствах, которые принято называть «*reductio ad absurdum*» («сведение к абсурду» (лат.)). Ведь я хочу показать, что положения рационалистов несравненно нелепее наших, а для этого надо хоть на время принять эти положения. Так, в первой части я допускал, что человек — животное, и он оказывался более достойным удивления, чем если бы я признал его ангелом. В точно таком же смысле я попытаюсь сейчас допустить, что Христос был человеком.

Я отойду на время от моих собственных, гораздо более ортодоксальных взглядов и попытаюсь представить, что бы почувствовал тот, кто прочитал бы Евангелие как повесть о незнакомом человеке. Мне хотелось бы показать, что такое чтение (если оно и впрямь беспристрастно) приведет если не к вере, то к растерянности, из которой нет выхода, кроме веры. И потому в этой главе я отойду от духа моей веры, откажусь даже от тона, который считал бы наиболее уместным, и постараюсь встать на место гипотетического читателя, впервые открывающего Евангелие.

Нелегко воспринять Новый завет как новость. Очень и очень трудно принять Благовествование как весть. К счастью и к несчастью, Евангелие обросло для нас тысячами толкований и ассоциаций; ни один человек нашей цивилизации — как бы он ни относился к христианству — не может прочитать его так, словно никогда о нем не слышал. Конечно, Новый завет — не аккуратный томик, свалившийся с неба. Авторитет Церкви отобрал его среди обширной литературы ранних христиан.

Но сейчас я говорю о другом: нам трудно, почти невозможно читать все эти знакомые слова так, как они написаны, не соскальзывая к привычным ассоциациям. Должно быть, именно потому современные толкования Евангелия так далеки от истины; и мне кажется порой, что критики Нового завета никогда его не читали.

Все мы слышали много раз (люди, наверное, не устанут говорить об этом), что Иисус Нового завета — милостивейший и кротчайший из всех друзей человечества, но Церковь сковала Его гнусными догмами, окружила суеверными страхами и лишила человечности. Рад повторить, что это неизмеримо далеко от истины. Христос церковного Предания — кроток и милостив, у Христа Священного Писания немало и других черт. Конечно, и в Евангелии Он жалеет нас, и от красоты Его слов может разбиться сердце.

Но это далеко не единственные Его слова. В предании же, в тех образах, которые дает нам Церковь, Он говорит едва ли не только эти слова любви. Причина тому проста и безупречно правильна. Большинство людей — бедны, большинство бедных — унижены, и непременно нужно напомнить им о беспредельной жалости Господней. Этот дух сострадания — первое, что заметит и даже осудит безбожник в *Pieta* или в Сердце Христовом. Может быть, искусство уже Писания, но инстинкт его точен.

Страшно и представить себе статую Христа во гневе. Невыносимо подумать, что, обогнув угол, увидишь на рыночной площади это Лицо таким, каким видели Его порождения ехиднины. Не следует осуждать Церковь за то, что она показывает нам Его в другие, милостивые минуты. Но помните и поймите: тому, кто узнает о Христе от Церкви, Он покажется более мягким, чем тому, кто узнает о Нем из Писания. У человека, впервые открывшего Евангелие и ничего не слышавшего о Христе, сложится совсем другое представление.

Многое покажется загадочным, кое-что непоследовательным, но далеко не только кротость увидит и почувствует он. Евангелие захватит его и потому, что о многом придется догадываться, а многое потребует объяснений. Он найдет там немало насмешливых намеков, таинственных умолчаний, внезапных действий, без сомнения, очень значительных, но он не поймет их значения. Он увидит, что буря Иисусова гнева разражается далеко не всегда там, где мы ожидаем. Петр церковного предания — тот, кому Христос говорил: «Паси агнцев Моих», — мало похож на того, кому Он крикнул в непонятном гневе: «Отойди от Меня, сатана!» Христос с любовью и жалостью плачет над Иерусалимом, который должен Его убить; мы не знаем, почему Он ставит ниже Содомы тихую Вифсаиду.

Я намеренно не касаюсь всех верных и неверных толкований, я просто хочу представить, что чувствовал бы человек, сделавший то, о чем нам столько твердили, — прочитавший Евангелие «без всех этих догм и доктрин». Я думаю, он нашел бы там немало такого, что покажется не правоверным, а кощунственным. Он увидел бы поистине реалистические рассказы, но только о том, что мы зовем сверхъестественным. Ведь Иисус Нового завета предстает «человеком дела» лишь тогда, когда изгоняет бесов.

Нет ничего кроткого и мягкого, нет ничего похожего на привычную для нас мистику в Его тоне, когда Он говорит: «Замолчи и выйди из него». Скорее тут вспомнишь властного укротителя или умного врача, умеющего сладить с опасным маньяком. Все это я говорю для примера, я не хочу ни спорить, ни объяснять; я просто описываю чувства человека, свалившегося с луны, для которого Новый завет — новый.

Вероятно, такой читатель заметил бы, что если все это — история человека, то она очень странная. Я говорю сейчас не о страшной ее кульминации и не о том, как она обернулась победой. Не говорю я и о том, что принято называть чудесами, — тут сами ученые запутались. Раньше считали, что чудеса бывали только в старину, теперь — что они начались в наше время. Раньше думали, что чудесные исцеления прекратились с первыми христианами; теперь склонны думать, что они начались с «Христианской науки».

Я говорю сейчас о незаметных, во всяком случае почти незаметных, вещах. В Евангелии очень много событий, которые никто не стал бы выдумывать, потому что никто, в сущности, не знает, что с ними делать. Например, есть там огромный пробел — нам почти неизвестно, как жил Христос до тридцати лет. Вряд ли кто-нибудь стал бы это выдумывать, чтобы что-то доказать, кажется, никто и не пытался сделать это. Умолчание потрясает нас — но как факт, не как притча.

По правилам мифотворчества и героепоклонства, скорее нужно было бы сказать (если я не ошибаюсь, так и говорили некоторые авторы апокрифов), что Христос понял и начал Свою миссию в исключительно раннем возрасте. Однако, как ни странно, Тот, Кто меньше всех людей нуждался в приуготовлении, готовился дольше всех. Что это, акт высшего смирения или некая истина, чей отсвет мы видим в том, что у высших существ длиннее детство?

Не будем строить догадок; я просто хочу показать на этом примере, что многое в Евангелии ничего не подкрепляет, тем более не иллюстрирует признанных религиозных догм. История Христа ничуть не похожа на то, что принято называть «простым, не испорченным Церковью Евангелием». Я сказал бы скорее, что Евангелие — таинственно, Церковь — разумна; Евангелие — загадка, Церковь — разгадка.

Начнем хотя бы с того, что вы не найдете в Евангелии общих мест. С каким бы почтением мы ни относились к древним философам и современным моралистам, мы не сможем сказать, что не нашли в их писаниях общих мест. Этого не скажешь даже о Платоне, тем более об Эпиктете, или Сенеке, или Марке Аврелии, и уж никак не скажешь о наших агностиках и членах этических обществ. Мораль большинства моралистов, древних и новых, — непрерывный, ровный поток общих мест.

Ничего подобного не найдет наш гипотетический читатель, впервые открывший Евангелие. Он не найдет там привычных, легко льющихся истин; зато найдет непонятные призывы, поразительные упреки и советы, странные и прекрасные рассказы. Он увидит грандиозные гиперболы о верблюде и игольном ушке или о горе, ввергнутой в море. Он найдет в высшей степени смелые упрощения житейских сложностей — скажем, совет сиять над всем, как солнце, и не заботиться о будущем, как птица.

С другой стороны, он увидит там тексты непроницаемой сложности, например загадочную мораль притчи о нерадивом управителе. Одни слова поразят его красотой, другие — правдой, но ничто не покажется ему само собой разумеющимся. Так, он не найдет прописных истин о мире — он найдет парадоксы о мире, которые, если принять их буквально, покажутся слишком мирными любому пацифисту. Он узнает, что нужно не столько уступать вору, сколько подбадривать его и поощрять.

Но он не отыщет ни слова из всей привычной антивоенной риторики, которой набиты тысячи книг, од и речей; ни слова о том, что война губительна, что война разорительна, что война — это бойня и так далее и тому подобное. Точнее, он вообще не найдет ничего, что пролило бы свет на отношение Христа к воинскому делу; разве что заключит, что Он неплохо относился к римским воинам. С той же внешней, человеческой точки зрения, может показаться странным, что Христос лучше ладит с римлянами, чем с евреями. Вообще же, речь идет об определенном тоне, который чувствуешь, читая определенный текст.

Слова о том, что кроткие наследуют землю, никак нельзя назвать кроткими и в них нет ни капли кротости, если мы понимаем под ней умеренность, безвредность, безобидность. Чтобы их оправдать, надо предвосхитить то, о чем

не думали тогда и не осуществили теперь. Если это истина, это — пророчество, но уж никак не трюизм. Блаженство кротких — в высшей степени сильное утверждение, истинное насилие над разумом и вероятностью.

И тут мы подходим к другой, очень важной черте Евангелия. Пророчество о кротких исполнилось, но не скоро. Не сразу раскрылись и слова, обращенные к Марфе, — слова, которые задним числом, изнутри так хорошо поняли христианские созерцатели. В словах этих нет ничего очевидного; большинство моралистов, и древних и новых, сказали бы иначе.

Какие потоки легкого красноречия изливали бы они в защиту Марфы! Как расписывали бы они радость простого труда, как мягко напоминали бы, что мы должны оставить мир лучшим, чем он был, в общем, как прекрасно повторяли бы они то, что говорят в защиту хлопотливости люди, для которых эти речи не составляют хлопот! Если в Марии, мистическом сосуде любви, Христос охранял посевы чего-то более ценного, кто мог понять это в те дни?

Никто другой не видел сияния Клары, Екатерины или Терезы под низкой кровлей Вифании. То же самое можно сказать о прекрасных и грозных словах про меч. Никто не мог угадать тогда, что они значат, чем оправдаются. Да и сейчас поборники свободной мысли так просты, что попадают в ловушку. Их шокирует намеренная мятежность этих слов. В сущности, им не нравится, что это парадокс, а не трюизм.

Если бы мы могли читать Евангелие, как свежую газету, оно озадачило бы нас и даже ужаснуло бы гораздо сильнее, чем те же самые вещи в церковном предании. Вспомним, например, пророчество Христа о скопцах для Царства небесного. Если это не призыв к добровольному обету целомудрия, это куда более неестественно и страшно.

Нам и в голову не приходит другое толкование, потому что мы знаем о францисканцах или сестрах милосердия. Но ведь сами по себе эти слова могут вызвать в памяти бесчеловечную, мрачную тишину азиатского гарема. Вот один пример из многих. Сейчас я хочу показать, что Христос Писания мог бы показаться более странным или страшным, чем Христос Предания.

Я говорю так долго о мятежных или о загадочных текстах не потому, что в них нет простого и высокого смысла, а потому, что я хочу ответить на обычные доводы. Поборники свободной мысли часто говорят, что Иисус из Назарета был человеком своего времени (хотя и обогнал его) и потому нельзя считать его этику целью, идеалом. После этого, как правило, идет критика и нам доказывают, что трудно подставить другую щеку или не думать о завтрашнем дне, что самоотречение — вещь суровая, а моногамия нелегка.

Но zeloty и легионеры подставляли другую щеку не чаще, если не реже, чем мы. Еврейские торговцы и римские мытари не меньше, если не больше, думали о завтрашнем дне. Зачем притворяться, что мы отбрасываем устаревшую мораль во имя новой, подходящей к нашей жизни? Это не мораль другого века, это мораль другого мира.

Скажите, что такие идеалы невыполнимы вообще, — но не говорите, что они невыполнимы для нас. Они явственно отмечены особым мистическим духом, и

если это — безумие, то оно поражает во все времена один и тот же тип людей. Возьмем, например, христианское учение о браке и об отношениях полов. Галилейский Учитель мог учить вещам, естественным для Галилеи, но это не так. Человек времен Тиберия мог излагать взгляды, обусловленные эпохой, — но и это не так. Христос учил другому, очень трудному, ничуть не более трудному сейчас, чем тогда.

Разрешая многоженство, Магомет и впрямь приравнивался к среде. Никто не скажет, что четыре жены — недостижимый идеал, это практичный компромисс, отмеченный духом определенного общества. Если бы Магомет родился в лондонском пригороде XIX века, он вряд ли завел бы там гаремы, даже и по четыре жены. Он родился в Аравии VI века и приспособил брачный закон к тогдашнему обычаю. Но Христос, говоря о браке, ни в малейшей степени не примерялся к обычаю Палестины I века. Он вообще ни к чему не приравнивался, кроме мистической истины, что брак — таинство, истины, которую много позже раскрыла Церковь.

В те времена единокорие было ничуть не легче, чем в наши дни, а удивляло оно больше. Евреи, римляне и греки не только не верили, что мужчина и женщина становятся единой плотью, — они слишком плохо понимали это, чтобы отвергнуть. Мы можем считать единокорие немислимым или недостижимым, но самый спор — все тот же. Мы не вправе считать, что слова и мысли Христа, может быть, и хороши для Его времени, но к нашему не подходят. Насколько они подходили к Его времени, показывает нам конец Его истории.

То же самое можно сказать иначе. Если Евангелие — история человека, почему этот человек так мало связан со своим временем? Я говорю не о мелочах быта — не надо быть Богом, чтобы понять, как они преходящи. Я говорю о тех основах, которые кажутся важными даже мудрейшим.

Аристотель был, наверное, мудрее и шире всех людей, какие только жили на свете. Основы его учения остались разумными, несмотря на все исторические и общественные перемены. И все же он жил в мире, где иметь рабов было так же естественно, как иметь детей, а потому признавал, что раб и свободный отличаются друг от друга. Христос тоже жил в этом времени и мире. Он не обличал специально рабства. То, что Он основал, могло существовать и при рабовладении; может оно существовать и там, где рабства нет.

Он не произнес ни единой фразы, ставящей Его учение в зависимость от какого бы то ни было общественного уклада. Так говорит только Тот, Кто знает, что все земное преходяще — даже то, что кажется вечным самому Аристотелю. В I веке Римская империя была поистине «кругом земным», другим названием мира. Но учение Христа не зависит от того, существует ли Империя, и даже от того, существует ли мир. «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут».

Те, кто говорят об ограниченности Галилеянина, расписываются в собственной ограниченности. Несомненно, Он верил в то, во что не верит одна современная секта; но в это верили не только в Его время или в Его стране. Вернее будет сказать, что в это не верят только в наше время. Еще вернее, только в наше время меньшинство, не верящее в это, может играть видную роль в обществе.

Христос верил в бесов и в духовное исцеление недугов совсем не потому, что родился в Галилее при Августе. В то же самое верили в Египте при Тутанхамоне и в Индии при Моголах. Материалистам приходится отстаивать свои взгляды против свидетельств всего мира, а не против провинциальных предрассудков Северной Палестины времен первых императоров.

То же самое можно сказать и о таинстве брака. Мы вправе в него не верить, как не верим в бесов, но Христос, несомненно, верил, хотя ничего похожего не было в Его время. Он взял Свои возражения против развода не из римского кодекса, и не из закона Моисеева, и не из местных обычаев. Его взгляды на брак казались Его тогдашним противникам точно такими же, какими кажутся нынешним, — странной, произвольной мистической догмой.

Сейчас я не собираюсь защищать эту догму; я просто хочу сказать, что сейчас так же трудно защищать ее, как и тогда. Этот идеал стоит вне времени, он труден всегда и всегда возможен. Нам говорят, что «этого можно было ожидать» от человека того времени и той страны; а мне кажется, что «этого» скорей можно ожидать от Богочеловека, который живет среди людей.

Повторю: честно прочитав Евангелие, вы не увидите популярного в наши дни «человека Христа». Такой Христос — искусственное построение, слепленное из произвольно выбранных свойств, словно человек, созданный поборниками эволюции. Таких Христов накопилось очень много — не меньше, чем ключей к мифологии. Разные школы рационализма создали разные, одинаково рациональные объяснения Его жизни.

Сперва доказали, что Он никогда не жил, и это дало почву для двух-трех дополнительных теорий: что Евангелие — солярный миф, или миф о зерне, или еще какой-то миф, навязчивый, словно мания. Потом учение о выдуманном Боге сменилось учением о реальном человеке. Во времена моей юности модно было рассуждать о том, что Иисус — просто учитель нравственности, близкий к эссеям, и не сказал он ничего особенного, во всяком случае — ничего, что не мог бы сказать Гиллель и сотни других: что хорошо быть хорошим, например, или что чистота очищает.

Потом кто-то решил, что Он был сумасшедшим, возомнившим себя Мессией. Нет, сказали другие, Он был нормален, так как не думал ни о чем, кроме социализма или (уточнили третьи) кроме пацифизма. Четвертые заметили, что Он был только целителем. «Христианская наука» проповедовала христианство без Христа, чтобы объяснить исцеление тещи Апостола или дочери сотника, — и все эти теории неверны, но, если взять их вместе, свидетельствуют о той самой тайне, которую не замечают.

Должно быть, есть что-то не только загадочное, но и многостороннее в нашем Господе, если из Него можно выкроить столько маленьких людей. Если Он удовлетворяет Мэри Бэкер-Эдди как целитель, а социалиста — как реформатор, настолько удовлетворяет, что они и не ждут от Него ничего другого, — может быть Он много больше, чем им кажется? Может, что-то есть и в других непонятных им действиях, скажем, в изгнании бесов или в пророчествах о Суде?

Наконец, человека, впервые читающего Евангелие, поразит еще одно. Я говорил не раз о том, что хорошо бы повернуть время вспять или представить себе хотя бы, что те или иные события — впереди, а не позади. В начале этой книги я ставил себя наместо чудища, впервые взирающего на мир. Еще труднее и поразительнее представить, что слышишь впервые о Христе. Не нам судить тех, кто счел слухи о Нем кощунством и безумием.

Лучше одарить великую весть даром недоверия, чем сказать, как нынешний мыслитель, что все относительно. Лучше разодрать на себе одежды, вопия о кощунстве, как Кайафа, или счесть Христа одержимым, как сочла толпа, чем тупо толковать о тонких оттенках пантеизма.

Намного мудрее простые души, которые перепугались, что трава посохнет и птицы попадают с неба, когда бездомный подмастерье плотника сказал спокойно, почти беспечно, словно бросил через плечо: «Прежде, нежели был Авраам, Я есмь».

Часть II, глава 3: Самая странная повесть на свете

В предыдущей главе я намеренно подчеркивал то, чего, по-видимому, не замечают теперь в Евангелии. Но я надеюсь, никто не подумает, что я сам не заметил в нем ничего другого. Христос был и остается милостивейшим нашим Судией и лучшим нашим Другом, и это много важнее для нашей частной жизни, чем для исторических выкладок. Однако эти Его черты тонут в банальных обобщениях; и потому я так хочу показать, что рассказы о Нем никак нельзя обвинить в банальности.

Чтобы это было яснее, я коснусь вопроса, намного более популярного в наше время, чем аскетизм или моногамия, — мы высоко ценим детство, которое тогда, в то время, не воспринимали так, как теперь. Если мы хотим показать, как своеобразно Евангелие, трудно найти лучший пример. Почти через две тысячи лет мы ощутили мистическое очарование ребенка. Мы воспеваем и оплакиваем первые годы жизни в «Питере Пэне» и в сотнях детских стихов.

Но языческий мир не понял бы нас, если бы мы сказали, что ребенок лучше и священнее взрослого. С логической точки зрения, это ничем не отличается от утверждения, что головастик лучше лягушки, бутон красивее цветка, зеленое яблоко вкуснее спелого. Другими словами, наше отношение к детству — мистическое, как культ девства; в сущности, это и есть культ девства. Античность больше почитала девственницу, чем дитя. Сейчас мы больше почитаем детей, может быть, потому, что они, нам на зависть, делают то, чего мы уже не делаем, — играют в простые игры, любят сказки.

Как бы то ни было, наше отношение к детям — чувство сложное и тонкое. Но тот, кто считает его открытием последних десятилетий, должен узнать, что Иисус Назаретянин открыл его на две тысячи лет раньше. Ничто в его мире не могло Ему помочь; здесь Он — истинно-человечен, гораздо человечней людей своего времени. Питер Пэн родился не в мире Пана, а в мире Петра.

Даже с литературной, стилистической точки зрения (если, конечно, мы вправе смотреть на Писание со стороны) можно отыскать в Евангелии одну особенность, которую, кажется, еще не заметили. Наверное, во всей словесности нет ничего равного по совершенству притче о полевых лилиях.

Вот Он берет маленький цветок и говорит, как он прост, даже бессилен; потом вдруг расцвечивает его пламенными красками, и цветок становится чертогом великого, славного царя; и тут же обращает в ничто, словно бросает на землю: «...Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, малoverы!».

Когда я читаю эту притчу, мне кажется, что по мановению руки, силою белой магии возникает Вавилонская башня, только добрая, не злая, а на ее далекой вершине стоит человек, вознесенный превыше небес по звездной лестнице легкой логики и вдохновенного воображения. С литературной точки зрения эта притча лучше всех наших книг, хотя привел Он ее вскользь, невзначай, словно сорвал цветок. Само ее построение показывает нам, насколько Он выше простых проповедников опрощения.

Только очень тонкий и очень высокий ум (в самом лучшем смысле слова) способен сравнить низшее с высшим, а высшее — с высочайшим, мыслить на трех, а не на двух уровнях. Только очень мудрый человек поймет, например, что гражданская свобода выше рабства, но духовная свобода выше гражданской. Так не мыслят упрости́тели Писания, призывающие к «евангельской морали», которую одни зовут простой, другие — сентиментальной. Так не мыслят те, кто довольствуется призывами к миру во что бы то ни стало.

Кстати, поразительный пример такого хода мысли — слова о мире и мече. Человек, лишенный этой силы, не поймет, что, хотя добрый мир лучше доброй ссоры, добрая ссора лучше худого мира. Таких сравнений в Евангелии немало, и я не перестаю дивиться им. Так, объемное тело глубже и выше двухмерных существ, обитающих на плоскости.

Я говорю здесь о тонкости и высоте ума, способного к дальновидности и даже к двусмысленности, не только затем, чтобы противопоставить ее привычным толкам о безвредном, непрактичном евангельском идеализме. Сейчас я вспомнил о ней в связи с поразительной истиной, которой уже коснулся в конце прошлой главы.

Человек, способный на такой ход мыслей, не впадает в манию величия, особенно в предельную, ведь дальше некуда. Конечно, если человек умен, это еще не значит, что он Бог; но это значит, что ему противно грубое хвастовство. Такой человек, если он только человек, меньше всех на свете склонен пьянеть от невесть откуда взявшейся идеи; это свойственно совсем иным людям, неуравновешенным, сверхчувствительным, обманывающим себя.

Вопрос не будет яснее, если даже вам скажут, что Христос не называл Себя Богом. Ни одному пророку или философу, равному Ему по мудрости, не могли бы это приписать. Допустим, что Церковь ошиблась, неправильно поняла Его; но никто, кроме Церкви, так не ошибается. Магометане не приняли Магомета за Аллаха, евреи не приняли Моисея за Ягве. Даже если все христианство зиждется на ошибке, ошибка эта неповторима, как Воплощение.

Задача моей книги — показать, как неверны привычные, пошлые и смутные представления о христианской вере; сейчас я говорю о самом неверном. В наши дни принято считать, что все религии равны, а все основатели религий — соперники, оспаривающие друг у друга звездный венец. Это не так. Только Один из них оспаривал венец. Магомет думал об этом не больше, чем Михей или Моисей; Конфуций — не больше, чем Платон или Марк Аврелий. Будда не считал себя Брамой, Зороастр называл себя Ормуздом не чаще, чем Ариманом.

Собственно, все обстоит именно так, как мы ожидаем согласно здравому смыслу и, уж точно, по христианскому учению. Чем выше человек, тем меньше у него оснований себя возвысить. Кроме единственного раза, о котором я говорю, такие претензии свойственны только очень мелким людям, помешанным на любви к себе. Нельзя и представить, что Аристотель назовет себя отцом богов и людей, хотя очень легко представить, что это припишет ему, а скорее себе умалишенный император вроде Калигулы.

Трудно поверить и в то, что Шекспир назовет себя великим, хотя американский филолог вполне может вычитать это в его, а скорее в собственных трудах. Да, такие люди бывают. Их нетрудно найти в сумасшедших домах, часто — в смиренных рубашках. Сейчас нам важна не их несчастная, чисто материальная судьба в нашем несчастном, материалистическом обществе с его жестокими, неуклонными законами, вам важно иное: такой человек очень узок и напыщен до безобразия.

Мы говорим о сумасшедшем «тронутой», говорим «я свихнулся», но все это — плохие метафоры: его нельзя поколебать, он совершенно замкнут, во всем уверен. Искать подобных людей надо не среди мудрецов, святых и пророков, а среди несчастных маньяков. Но никто не скажет, что человек Иисус из Назарета был таким. Ни один атеист и богохульник не думает, что автор притчи о блудном сыне был одноглазым чудовищем. С любой точки зрения он (или Он) выше этого.

Перед всяким, кто впрямь посмотрит на Христа-человека со стороны, неподвзято, встанет трудная проблема. Она столь важна, что я посоветую нарисовать что-то вроде портрета. Если Христос был только человеком, он был человеком сложным, даже противоречивым. В нем соединялись именно те черты, которые считают несовместимыми.

В нем было именно то, чего нет у безумцев. Он был мудр и справедлив — такими не бывают маньяки. Он говорил неожиданные, нередко поразительные вещи, но поражал он милосердием, а часто — умеренностью. Вспомним притчу о плевелах. В ней есть тонкость и здравый смысл, в ней нет простоты безумия, нет даже простоты фанатизма. Легко вложить ее в уста столетнего философа, живущего в самом конце века утопий.

Я просто не могу себе представить, как согласовать все это с притязаниями на Божий сан, если не принять того объяснения, которое дает нам Церковь. Если мы не примем на веру, что Христос был Богом, любые рассуждения совсем запутают нас.

Только Бог достаточно велик для того, чтоб называть себя Богом. Великий мудрец знает, что он — не Бог, и, чем он мудрее, тем лучше он это знает. В том-то и странность: чем ближе ты к Богу, тем от Него дальше. Сократ, мудрейший из людей, знал, что не знает ничего. Сумасшедший может считать себя Всевышним, дурак — всеведущим. Христос всеведущ иначе: Он знал, что знает.

Словом, даже в чисто человеческом смысле Христос Нового завета — больше, чем просто человек; Он — и человек, и нечто большее. Однако еще одну черту нелегко уместить в чисто человеческие рамки. Сквозь все поучения Христа проходит нить, почти незаметная для тех, кто говорит теперь, что это именно поучение. Когда читаешь Евангелие, так и кажется, что на самом деле Он пришел не для того, чтобы учить.

Ничто на свете не трогает меня больше, чем претворение воды в вино на свадебном пиру. Рассказ о Кане Галилейской демократичен, как книги Диккенса. Он человечен в том смысле, в каком не применишь это слово к целой толпе человекообразных умников. Он выше высокомерия избранных. Но даже в нем есть что-то еще, есть отзвук тайны. Я говорю сейчас о первом колебании.

Христос усомнился не в чудесах. Он усомнился в том, нужно ли творить их сейчас.

«Еще не пришел час Мой». Что это значит? Мы не знаем; но что бы это ни значило, эти слова говорят нам, что у Него был план, была цель и все возможные действия или служили ей, или не служили. Если мы не заметим этого плана, мы упустим самую суть истории Христа, нет, мы просто ничего не поймем в Евангелии.

Нередко говорят, что Иисус был бродячим учителем, и это очень важно — мы не должны забывать, как относился Он к роскоши и условностям. Вероятно, уважаемые люди и сейчас сочли бы Его бродягой. Он Сам говорил, что лисы имеют норы, а птицы гнезда, и, как бывает часто, мы ощущаем не всю силу этих слов. Мы не всегда замечаем, что, сравнивая Себя с лисами и птицами, Он называет Себя Сыном Человеческим, то есть Человеком.

Новый Человек, Второй Адам, признал во всеуслышание великую истину, с которой мы начали эту книгу: человек отличается от животных всем, даже беззащитностью, даже недостатками: он менее нормален, чем они, он странник, чужой, пришелец на земле. Хорошо напоминать нам о странствиях Иисуса, чтобы мы не забыли, что Он разделял бродячую жизнь бездомных. Очень полезно думать о том, что Его прогоняла бы, а может, и арестовывала бы полиция, потому что не могла бы определить, на что Он живет.

Ведь наш закон дошел до таких смешных вещей, до каких не додумались ни Нерон, ни Ирод, — мы наказываем бездомных за то, что им негде жить. В то же время слово «бродячий», примененное к Нему, сбивает нас с толку. Действительно, многие языческие философы и софисты были бродячими учителями. Аполлоний Тианский, который в некоторых изысканных кругах считался идеалом философа, по преданию, добрал до Ганга и Эфиопии, практически не умолкая.

Целую школу философов называли перипатетиками; и у нас создается впечатление, что многие великие мудрецы только и делали, что говорили и бродили. Великие беседы, из которых мы знаем хоть немного о мудрости Сократа, Будды или даже Конфуция, часто кажутся нам обрывками бесконечной прогулки, и в них, по всей видимости, нет ни начала, ни конца. Сократа, правда, прервали, но в том и величие Сократа, что смерть была для него просто досадной помехой.

Мы не поймем всей нравственной его силы, если не заметим, что он смотрит на палачей с невинным удивлением, я сказал бы даже, с невинным раздражением: неужели нашелся неразумный, который обрывает разговор, помогающий установить истину? Он ищет истины, а не смерти. Смерть — камень на его дороге.

Будда привлекает нас действием, отказом; но это действие переносит его в мир отрицания, ничуть не похожий на драму. И снова мы не поймем нравственной силы великого мистика, если не заметим, что он разделался с драмами, чья суть — желания и борьба, конец — поражение и отчаяние. Он обрел мир и стал учить других, как обрести его.

С этих пор он жил жизнью философа, несомненно, более идеального, чем Аполлоний; делом его были не дела, а объяснения. Он объяснял, точнее, мягко сводил на нет все и вся. Христос сказал: «Ищите Царства Божия, и это все приложится вам». Будда учил: ищите Царства, и вам ничего не будет нужно.

И вот, по сравнению с ними, жизнь Иисуса стремительна, как молния. Это прежде всего драма, прежде всего — выполнение. Дело Его не было бы сделано, если бы Иисус бродил по миру и растолковывал правду. Даже с внешней стороны непохоже, что Он бродил, то есть как бы не знал, куда идет. В этом смысле Он похож скорее на идеального героя мифа, чем на идеального философа.

Он шел к цели, как шел Язон к золотому руно или Геракл к золотым яблокам Гесперид. Но искал Он золота смерти. Он делал много другого, и это очень важно, но с начала до конца Он шел на смерть. Что может быть различней, чем смерть Сократа и смерть Христа? Мы чувствуем, что смерть Сократа была — во всяком случае, для его сторонников — глупым вмешательством закона в человеческую, светлую, я чуть не сказал — легкую, философию. Но смерть была невестой Христа, как бедность была невестой Франциска.

Его жизнь — песнь о любви или приключенческая повесть о погоне за жертвой жертв. С той минуты, как появилась звезда, словно фейерверк ко дню рождения, до той, когда солнце померкло, словно похоронный факел, действие разворачивается быстро и напряженно, как в драме, чей конец — за пределом слов.

История Христа — история путешествия, я сказал бы даже, история похода. Она начинается в раю Галилеи, пастушеской мирной страны, чем-то похожей на Эдем, и взбирается все выше, к тучам и звездам, словно на гору Чистилища. Иногда мы видим, что Христос остановился в неожиданном месте или задержался в пути для спора; но лицо Его всегда обращено к Городу на горе. Только так мы поймем поразительную сцену, высшую точку повести, когда на повороте дороги Он внезапно и громко заплакал об Иерусалиме.

Отзвук этого плача звенит во всех патриотических песнях; там, где его нет, патриотизм отдает пошлостью. Только так мы поймем и сцену в Храме, когда столы катились со ступеней, как негодный скарб, и богатые торжники катились за ними, — сцену, загадочную для пацифистов, как загадочны для милитаристов парадоксы о непротивлении.

Я говорил о путешествии Язона; но нельзя забывать, что в более глубоком смысле путь Христа похож на путь Одиссея. Это не странствие, а возвращение, мало того, это победа. Любой нормальный мальчишка, читающий об итакских мореходах, прежде всего видит, что «Одиссея» хорошо кончается; но многие взирают на путь еврейских рыбаков и мытарей с той изысканной брезгливостью, которую принято испытывать теперь при виде насилия, особенно насилия над сильными.

Все события Евангелия поднимаются в гору, все они — не случайны. Когда Аполлоний предстает перед судом и исчезает, это чудо совершенно случайно. Оно могло бы произойти когда угодно, и, кажется, дата его так же сомнительна, как все остальное. Идеальный философ просто исчез и продолжил свое

существование в другом месте. Совсем не случайно, что, по преданию, он дожил до весьма преклонных лет.

Иисус был сдержаннее в Своих чудесах. Когда Он предстал перед судом Пилата, Он не исчез. Он достиг цели, достиг вершины; наступило время зла и власть тьмы. Да, Он не исчез, и это — самое сверхъестественное из всей Его полной чудес жизни.

Все попытки расширить Его историю только сужали ее. А расширить пытались многие, от великих поэтов до слезливых мещан и надутых краснобаев. Изысканные скептики пересказывали ее покровительственно, расхожие книжки — бойко. Я пересказывать не буду.

Простые слова Евангелия тяжелы, как жернова, и тот, кто может читать их просто, чувствует, что на него свалился камень. Толкования — только слова о словах. Но как опишешь словами темный сад, внезапный свет факелов, гневные лица? «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. Каждый день бывал Я с вами в Храме, и вы не поднимали на Меня рук; но теперь — ваше время и власть тьмы».

Что прибавишь к мощной сдержанности этой насмешки, подобной вознесшейся и застывшей волне? «Дщери Иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и детях ваших». Старейшины говорили: «Какое еще нужно нам свидетельство?» Так и мы можем сказать: «Какие еще нужны нам слова?»

Петр в страхе отрекается; «И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обернувшись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слова Господни, когда Он сказал ему: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал».

Что можно тут прибавить? Перед тем как Его убьют, Он просит за убийц: «..Не ведают, что творят». Что скажешь тут, если мы сами не ведаем, что говорим?

Нужно ли пересказывать, как тянулось страшное шествие Крестного пути, как в спешке предали Его обычной для тех времен казни и как в этом ужасе и одиночестве один неожиданный голос восславил Его, а Он ответил безвестному разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Кто способен описать заново то прощание со всякой плотью, которым Он дал Своей Матери нового сына?

Мне несравненно легче — да и здесь больше к месту — сказать о том, что на Голгофе, как в мистерии, собрались все человеческие силы, о которых я говорил. Цари, мудрецы и народ присутствовали при Его рождении; и — много непосредственной — они причастны к Его смерти. Те, кто стоял у креста, воплощают в себе великую истину истории: мир не мог себя спасти.

Афины, Рим, Иерусалим стремились вниз, словно их затягивало в водоворот. Внешне древний мир был в расцвете; именно в такие моменты и развивается недуг. А чтобы понять, в чем этот недуг состоял, приходится вспомнить то, что мы не раз повторяли: не слабость гибла, а сила, и мудрость мира сего обратилась в безумие.

В истории Страстной Пятницы лучшее в мире обернулось плохой стороной. Поистине, самой плохой стороной обернулся мир. Там были жрецы чистейшего монотеизма и воины всемирной цивилизации. Рим, возведенный к павшей Трое и победивший падший Карфаген, воплощал героизм, ближе всего во всем язычестве подходящий к рыцарству. Он защищал домашних богов и человеческое достоинство против чудиц Африки и гермафродитов Греции.

Но в свете этой молнии мы видим, как великий Рим, империя и республика, гибнет под гнетом проклятия Лукреции. Скепсис разъял простое здравомыслие победителей мира; тот, кто призван учить справедливости, не знает, что есть истина. В драме, решившей судьбу древности, один из главных персонажей играет как бы не свою роль.

Рим был другим именем ответственности — и остался навеки воплощением безответственности. Человек не мог сделать больше ничего; даже практичные стали непрактичными. Со своего собственного лифостротона Рим сложил с себя ответственность за судьбы мира и умыл руки.

Были там и первосвященники той первоизданной истины, которая лежала за всеми мифами, как небо за облаками. Может быть, и вправду есть что-то страшное в чистом единобожии, словно смотришь на солнце, и небо, и звезды, сложившиеся в одно лицо. Наверное, эта истина слишком огромна, когда между ней и нами не стоят бесплотные и земные посредники; а может быть, она слишком чиста для нас и слишком от нас далека?

Во всяком случае, мир она не спасла, она даже не смогла его обратить. Мудрецы хранили ее в самой высокой и благородной форме; но они не только не обратили других в свою веру — они и не пытались. Побороть частным мнением джунгли народных мифов не легче, чем расчистить лес перочинным ножом.

Иудейские первосвященники хранили свою истину ревностно и в плохом, и в хорошем смысле слова. Они хранили ее, как хранят великую тайну; как дикие герои мифов хранили солнце в ларчике, так хранили они Предвечного в ковчеге. Они гордились, что только они могут смотреть в ослепительный лик Единого, и не знали, что ослепли.

С того дня такие, как они, словно слепые на свету, тычут наугад своими посохами и сердятся, что так темно. Что-то было в их монументальном монотеизме, из-за чего он стал последним в своем роде монументом, застывшим среди беспокойного мира, который он не смог удовлетворить. По той, по иной ли причине он, несомненно, не может удовлетворить мир.

С того дня нельзя уже просто сказать, что Бог на небе и все хорошо на свете; ведь люди узнали, что Бог сошел с неба, чтобы исправить этот свет.

Силы эти были когда-то благими; но то же самое случилось и с теми, кто был еще лучше их, с теми, кого ставил выше всех сам Христос. Бедные, которым он проповедал Благоую Весть, простые люди, радостно слушавшие Его, те самые, что создали так много героев и полубогов, поддались слабости, разъедающей

мир. С ними случилось то, что часто случается с толпой, особенно со столичной толпой упадочного века.

Крестьянин живет преданием, горожанин — слухами. Точно так же как мифы в свою пору, симпатии и антипатии города менялись легко и ни к чему не обязывали. Какого-то разбойника превратили наспех в живописного, популярного героя и противопоставили Христу. Поневоле узнаешь чернь наших городов и наши газетные сенсации. Но в черни таилось зло, типичное именно для древнего мира.

Мы уже говорили о пренебрежении к личности, даже к личности, голосующей за казнь, тем более к личности осужденного. Заговорила душа улья, душа язычества. Это она требовала в тот час, чтобы один Человек умер за народ. Когда-то, много раньше, преданность городу и государству была хороша и благородна. У нее были свои поэты и свои мученики, славные и в наши дни. Но она не видела человеческой души, святилища всей мистики.

Толпа пошла за саддукеями и фарисеями, за мудрецами и моралистами. Она пошла за чиновниками и жрецами, за писарями и воинами, чтобы все человечество, скопом, запятнало себя и все сословия слились в едином хоре, когда оттолкнули Человека.

В самой высокой точке этой драмы есть одиночество, которое нельзя нарушить, есть тайны, которых не выразить, во всяком случае — в тот час, когда обычный человек обращается к людям. Никакими словами, кроме тех простых слов, и отдаленно не передашь весь ужас, царивший на Голгофе. Его никогда не перестанут описывать, а в сущности — и не начинали.

Что можно сказать о конце, когда вырвались невысказанные, невысказанные непонятные слова, на миг разверзлась не выдуманная, а настоящая бездна в единстве Троицы и Бог оставил Бога? Нам этих слов не понять во всю вечность, которую они нам дали.

Тело сняли с креста, и один из немногих богатых учеников испросил разрешение похоронить Его в саду, в пещере. Римляне поставили охрану, опасаясь мятежа и похищения. Все это снова было как притча; не случайно закрыли могилу со всей таинственностью древних погребений, и сила кесарей охраняла ее.

В тот час запечатали и погребли великий и славный мир, который мы зовем древностью. Пришел конец великому делу — человеческой истории, той истории, которая была только человеческой. Мифы и учения похоронили там, богов, мудрецов и героев. По прекрасной римской поговорке, они отжили. Но они умели только жить, а потому могли только умереть. И вот они умерли.

На третий день друзья Христовы пришли туда и увидели, что пещера пуста и камень отвален. По-разному узнали они о новом чуде; но даже тогда они, должно быть, не совсем поняли, что история кончилась в ту ночь. Они видели снова первый день творения, новое небо, новую землю; и Господь-Садовник гулял по саду в прохладе рассвета.

Часть II, глава 4: Свидетельство еретиков

Христос основал Церковь двумя великими образами — камня и ключей. Первый из них ясен — мне, во всяком случае. Однако слова эти — еще один пример того, что раскрылось и разъяснилось только позже, много позже. Кроме того, это еще один пример загадочной сложности Евангелия — Христос сравнил с камнем человека, несравненно более похожего на трость, ветром колеблемую.

Но мало кто замечал, как поразительно точен образ. Ключи играют немалую роль в искусстве и геральдике христианства; но далеко не все понимают, как полна и точна аллегория. В этой главе я хочу рассказать о том, какой была и что делала Церковь вначале, и ничто не может помочь мне больше, чем древняя метафора. Ранние христиане похожи на людей с ключом — или, если хотите, на тех, кто говорит, что у них есть ключ.

Они не били тараном стену, как наши современники, и не неслись очертя голову, прихватывая по пути все, что попадет. Более того, как мы сейчас увидим, они наотрез отказались от подобных действий. Они утверждали, что есть ключ и что этот ключ — у них, а другого такого нет. В этом смысле, конечно, их можно назвать узкими. Но случилось так, что именно этот ключ открыл темницу мира, и белый, дневной свет свободы ворвался в нее.

Вера подобна ключу в трех отношениях.

Во-первых, у ключа определенная форма, без формы он уже не ключ. Если она неверна, дверь не откроется. Христианство, прежде всего, философия четких очертаний, оно враждебно всякой расплывчатости. Это и отличает его от бесформенной бесконечности, манихейской или буддийской, образующей темную заводь в темных глубинах Азии.

Это же отличает его и от бесформенности чистой эволюции, в чьем потоке все твари непрерывно теряют очертания. Если вам скажут, что ваш ключ расплавился и слился с тысячами других ключей, вас это огорчит. Не обрадуется и тот, чей ключ меняется понемногу, развиваясь и усложняясь.

Во-вторых, форма ключа очень причудлива. Дикарь, не видевший ключей, никогда не угадает, что это. Причудлива она потому, что, в определенном смысле, она произвольна. О ключе спорить нечего, он или входит в скважину, или нет. Вряд ли стоит подгонять ключ под правила геометрии или каноны эстетики. Бессмысленно требовать и ключ попроще, тогда уж лучше взломать дверь.

И в-третьих, форма ключа не только точна, но и сложна. Многие жалуются, что религию так рано засорили теологические сложности, забывая, что мир зашел не в тупик, а в целый лабиринт тупиков. Сама проблема была сложна, куда сложнее, чем «борьба с грехами». Накопилось множество тайн, неосознанных болезней души, опасностей, извращений. Если бы наша вера принесла толпе плоские истины о мире и о прощении, к каким пытаются свести ее многие моралисты, она бы нимало не воздействовала на сложный и пышный приют для умалишенных.

Что сделала она в действительности, я попытаюсь объяснить, пока же повторю: во многом ключ был сложен, в одном — прост. Он открывал дверь.

Существует несколько ходячих мнений, которые для краткости я назову ложью. Все мы слышали, что христианство возникло в варварский век. С таким же успехом можно сказать, что в варварский век возникла «Христианская наука». Считайте, на худой конец, что христианство знаменовало общественный упадок, как я считаю, что «Христианская наука» знаменует упадок умственный.

Считайте христианство суеверием, погубившим цивилизацию, — считаю же я «Христианскую науку» суеверием, способным (если к нему отнестись серьезно) погубить сколько хочешь цивилизаций. Но сказать, что христианин IV или V века был варваром и жил в эпоху варварства, все равно что отнести Мэри Бэкер-Эдди к племени краснокожих индейцев. Нам может нравиться или не нравиться американская культура XIX века, но ни один здравомыслящий человек не станет, при всем желании, отрицать, что и Римская Империя, и индустриальная Америка — цивилизованны.

Хорошо это или плохо, христианство было порождением цивилизованного, я бы даже сказал — слишком цивилизованного мира. Это не упрек и не похвала. Во всяком случае, в моих устах сравнение с христианской наукой никак не сочтешь похвалой. Просто надо хоть немного чувствовать атмосферу общества, прежде чем хвалить его или порицать. О главном в языческой цивилизации я неоднократно вспоминал на этих страницах — Средиземное море, словно озеро, поглощало и соединяло разные культы и культуры. Города, глядевшие друг на друга с его берегов, становились все более похожими.

С юридической и военной стороны, это Римская Империя; но у нее очень много сторон. Можно назвать ее суеверной — в ней множество суеверий, но никак не варварской.

Христианство и наша Церковь возникли в эпоху высокой международной культуры и по всем признакам показались тогда и новыми, и странными. Очень трудно доказать, что они развились из чего-то менее странного.

Можно, конечно, говорить, что ессеи или эбиониты были семенем; но семя незаметно, дерево вырастает сразу и, наконец, оно совсем не похоже на семя. Оно радостно, как рождественская елка, и строго, как ритуальный семисвечник. Кстати, никак не пойму, почему так возражают против позолоты в Церкви, если сами волхвы принесли золото? Почему не разрешали кадить, если они принесли ладан?

Но сейчас я говорю не об этом. Я просто сообщаю исторический факт, который все больше признают историки: очень рано перед удивленными взорами древних Церковь возникла именно как Церковь, со всем тем, что входит в нее теперь, и с очень многим из того, что в ней порицают. Вскоре я расскажу о том, была ли она похожа на магию, обрядность или аскезу своего века. Но она никак не походила на этические общества нашего века.

У нее была доктрина, была дисциплина, были таинства, были степени посвящения; она принимала людей и отлучала, защищала одни догмы и

проклинала другие. Если все это — знаки Антихриста, царство его наступило сразу же после Христа.

Те, кто считают, что истинное христианство — не Церковь, а моральное движение идеалистов, вынуждены отодвигать все дальше и дальше дату его падения.

Епископ Римский настаивает на своей власти при жизни Иоанна Богослова; это считают в наши дни первым проявлением пресловутой наглости пап. Друг апостолов пишет, что они научили его таинству Евхаристии; а Уэллс ворчит, что к варварским жертвоприношениям отступили раньше, чем можно было ожидать. Дату четвертого Евангелия передвигали все ближе к нам, теперь отодвигают все дальше, и, может быть, дойдут до чудовищного предположения, что оно написано в I веке.

Самки ранний срок гибели истинного христианства, должно быть, отыскал один немецкий профессор, к чьему авторитету прибегает декан Инг, — он говорит, что Пятидесятница была первым сборищем деспотичных догматиков и церковников, изменивших простому учению Христа. И в прямом, и в переносном смысле дальше идти некуда. Некоторые сравнивают ранних христиан с нынешними пацифистами; я с этим не согласен, но сейчас, для доказательства, приму это сравнение.

Представьте себе, что Толстого или другого великого миротворца застрелили, когда он призывал крестьян уклоняться от воинской повинности. Через месяц с небольшим его последователи собрались, чтобы почтить его память. Их объединяет только это, они разные люди, но в жизни каждого из них главную роль играло то, что случилось с учителем. Они постоянно повторяют его слова, обсуждают его проблемы, пытаются подражать ему. И вот, собравшись на свою пятидесятницу, они в едином порыве решают бороться за поголовную воинскую повинность, увеличить налоги на армию и флот, вооружиться до зубов, расставить пушки по всем границам и расходятся под звуки бодрого военного марша.

Это — очень слабое подобие современных предположений. Любой здравомыслящий человек чувствует, что ученики, встретившись ради любимого учителя, не побегут немедленно после этого насаждать все, что он ненавидел. Если «церковники и догматики» старые, как Пятидесятница, они старые, как Рождество. Если мы возведем все это к столь раннему христианству, мы должны возвести это к Христу.

Итак, мы начинаем с двух отрицаний. Глупо говорить, что наша вера возникла в простом, то есть в неграмотном, неразвитом обществе. Так же глупо говорить, что наша вера была простой, то есть расплывчатой, или наивной, или связанной только с чувствами. Христианство похоже на свое время лишь одним: оба они чрезвычайно разносторонни; но античность — многосторонняя, скажем — шестиугольная дыра, для которой годится шестиугольная пробка.

Шесть сторон Средиземноморья смотрели друг на друга и ждали чего-то, что увидят все стороны сразу. Церковь должна была стать и римской, и греческой, и еврейской, и африканской, и азиатской. Подобно апостолу языков, она должна была стать всем для всех.

Но есть и другие обвинения. Нашу веру обвиняют в том, что она — дитя разлагающегося мира, мрачное предсмертное суеверие, ибо Рим умирал от излишней цивилизованности. Этот довод заслуживает большего внимания, и я остановлюсь на нем.

В начале этой книги я сравнивал возникновение человека в природе и христианства в истории. Вернусь к этому сравнению. Если вы видели обезьян, вы можете себе представить антропоида; но вы никогда не представите себе человека и всех его дел. Сравнение это важно, ибо именно так обстоит дело и с Церковью — с мыслью о том, что Церковь естественно развилась из погибающей Империи.

Действительно, в определенном смысле можно было предсказать, что упадок Империи породит что-нибудь похожее на христианство, точнее, кое в чем похожее и совершенно другое. Можно было сказать, например: «Люди дошли до предела в погоне за наслаждениями, и непременно должно наступить горькое похмелье. Очень может быть, что оно выразится в аскезе — люди станут не только убивать, но и калечить себя». С таким же правом можно было сказать: «Если мы устанем от римских и греческих богов, мы скатимся к восточной мистике, войдут в моду персы или индусы».

Можно было бы, при должной проницательности, сказать и так: «Сильные мира сего всегда увлекаются чем-нибудь. В конце концов двор примет одну из мод, и она станет государственной религией». А другие пророки, помрачней, могли бы резонно заметить: «Мир катится ко всем чертям. Вернутся темные, дикие суеверия, не так уж важно — какие. Все они бесформенны и смутны, словно страшный сон».

Занимательно, что все эти пророчества исполнились, но не Церковь исполнила, их Церковь спаслась от них, восстала против них и победила. Распущенность и впрямь породила аскетов, которые звались манихеями, и Церковь была им лютым врагом. Манихейство возникло естественно и естественно погибло. Пессимистическая реакция пришла и ушла с манихеями. Но Церковь осталась; и она куда больше связана с их уходом, чем с их появлением.

Скепсис действительно породил моду на восточные культы; Митра явился из Персии, которая дальше Палестины, и принес странные таинства, связанные с бычьей кровью. Восточные предрассудки как нельзя лучше вписывались в Империю времен упадка, но почему же один из них продержался до XX века и становится все сильнее? Если бы мы оставались митраистами, потому что при Домициане вошли в моду персидские прически и другие поветрия, мы бы все-таки немного отстали от моды.

То же самое можно сказать о покровительстве властей. Когда Империя переживала упадок и крах, императоры поддерживали некоторые культы, и культы эти пришли к упадку и краху. Непонятно, почему один из них наотрез отказался пасть, почему он крепнул, пока падали другие, и не проявляет признаков старости сейчас, когда еще один эон закончился и еще одна цивилизация пришла в упадок.

И вот что любопытно: те самые ереси, за борьбу с которыми порицают Церковь первых веков, свидетельствуют в ее пользу. Ее обвиняют во многих грехах, но в этих грехах повинна не она, а те, кого она сокрушила. Если было суеверие, она отвергла его как суеверие. Если было отступление к варварству, она отвергла его именно за варварство. Если модные забавы увядающей Империи заслуживали смерти, именно Церковь, она одна, убила их.

Историки и критики объясняют нам, почему возникли И почему погибли гностики, ариане или несториане. Они не объясняют, почему возникла Церковь и почему она воевала с тем самым злом, в котором обвиняют ее самое.

Что может быть привычнее таких, например, слов: «Христианство прежде всего было движением аскетов. Они бежали в пустыню, заточали себя в обители, отказывались от жизни и от всякой радости, и все это — мрачная реакция против природы, ненависть к плоти, страх перед материальным миром, повальное самоубийство чувств и даже личности — шло от восточного фанатизма (вспомним факиров), основанного, в конечном счете, на глубоком пессимизме, воспринимающем бытие как зло».

Самое странное, что это верно, только относится не к Церкви, а к еретикам, осужденным Церковью. Точно так же мы можем описать во всех подробностях грехи, ошибки и промахи Георга III, но по оплошности приписать их Джорджу Вашингтону или преступления большевиков приписать царю. Церковь первых веков была аскетической, но совсем в другом смысле и по другим причинам. Философия ненависти к жизни действительно существовала, только не там, где принято ее видеть.

На самом деле было так. Когда христианство пришло в мир, на него, словно осы на пчелу, ринулись роем мистические и метафизические секты, в большинстве своем восточные. Со стороны все они были похожи, и голоса их сливались в нестройное жужжание. Но только одна золотая точка во всем этом облаке могла построить ульи для грядущих поколений, дать миру мед и воск, сладость и свет.

Осы перемерли зимой, мало кто теперь про них слышал, большинство о них и не догадывается, поэтому первый период нашей веры нам непонятен. Можно привести и другое сравнение. Когда прорвалась плотина между Западом и Востоком и новая мистика хлынула в Европу, в этом потоке было немало аскетизма, еще больше пессимизма. Затопил он поначалу едва ли не все христианство. Он родился на темной границе между восточной философией и восточной мифологией и взял от самых странных философов склонность к схемам и генеалогическим древам.

Тех, кто, по преданию, следовал загадочному Мани, зовут манихеями. Сходные с ними учения известны под именем гностических, они поражают сложностью, но сутью их был пессимизм. И манихеи, и гностики считали сотворение мера делом злого начала. У некоторых из этих культов был азиатский привкус, который есть в буддизме, — ощущение, что жизнь замутняет чистоту бытия. Весь этот темный поток хлынул сквозь плотину примерно тогда же, когда возникло христианство.

Но в том-то и суть, что они не смешивались, как не смешиваются вода и масло. Наша вера сохранилась, словно река, чудом текущая сквозь море. И доказательство этому чуду, как многое в истории Церкви, — не умозрительно, но глубоко практично: море было соленым и горьким, оно пахло смертью, а этот поток утолял жажду.

Чистоту Церкви охраняли догматы, и ничто другое, наверное, не охранило бы ее. Если бы Церковь не отвергла манихеев, она могла бы стать манихейской. Если бы она не опровергла гностиков, она могла бы стать такой, как они. Но она опровергла их, отвергла, и это доказывает, что она не была ни манихейской, ни гностической. Во всяком случае, она доказала, что не все совпадало в ней с манихейством и гнозисом; чем же это могло быть, если не Благой Вестью Вифлеема и победной трубой Воскресения?

Церковь была аскетичной, но доказала, что пессимизма в ней нет, осудив пессимистов. Она признала, что человек — грешен, но никогда не говорила, что жизнь есть зло, и осудила тех, кто говорил так. Мы нетерпимы к ней, ибо она нетерпима к ересям первых веков. На самом деле именно эта нетерпимость и доказывает, что Церковь собиралась стать всеобщей и широкой. Потому и спешила она объяснить, что не считает человека безнадежно гнусным, мир — непоправимо дурным, брак — грехом, рождение ребенка — несчастьем.

Христиане были аскетами, потому что только аскеза могла очистить от греха; но в громе своих анафем они провозвестили, что не борются ни против людей, ни против природы; что они очищают, а не разрушают мир. Ничто, кроме этих анафем, не очистило бы его в той мешанине, благодаря которой мы и сейчас путаем Церковь с ее смертельным врагом.

Только догма могла сдерживать разгулявшуюся фантазию пессимистов, восставших против природы, — противостоять их эонам, их демиургу, их странному Логосу и невеселой Софии. Если бы Церковь не настаивала на богословии, она растворилась бы в безумной мифологии мистиков, далекой от жизни и от любви к живому.

Не надо забывать, что эта «мифология наизнанку» отменила бы все, что было естественного в язычестве. Плутон встал бы выше Юпитера, Гадес — выше Олимпа, Брахма и дыхание жизни подчинились бы Шиве, сверкающему оком смерти.

Церковь горела сама чистым огнем целомудрия, она умерщвляла плоть, но разница была от этого не меньше, а больше. Нам особенно важно понять, где именно догма провела Границу. Человек мог стоять день и ночь на столпе и прославиться аскезой. Но стоило ему сказать, что мир гадок или что жениться грешно, как его осуждали за ересь.

Если христиан путают с гностиками, это не их вина, особенно когда одни и те же люди обвиняют их в преследовании аскетизма и в сочувствии ему. Церковь не была манихейским движением. Она была скорее укротительницей, чем покровительницей аскезы. Если мы не поймем этого, нам не понять, например, историю Августина. Пока он был обыкновенным мирским человеком, человеком своего времени, он считал себя манихеем. Это было и современно, и

модно. Но когда он обратился, он обрушился со всей яростью именно на манихеев.

Христианин скажет, что из пессимиста он превратился в аскета. С точки зрения пессимистов, он из аскета превратился в блаженного. Ненависть к жизни и природе он нашел и без Церкви, в язычестве; и отказался от них, обратившись. Это только подчеркивается тем, что Августин Блаженный и строже, и печальней святого Франциска и святой Терезы. Познакомившись с самым грустным и даже самым мрачным из христианских святых, мы все-таки можем спросить: «Если христианство ненавидело жизнь, почему оно боролось с манихеями?»

Возьмем другое привычное, рационалистическое объяснение. Мы нередко читаем: «Христианство вообще не возвышалось, оно не поднималось снизу, его навязали сверху. Это очень типично для тоталитарных государств. Империя действительно была Империей, ею правил император. Один из императоров случайно стал христианином. С таким же успехом он мог стать митраистом, саддукеем или огнепоклонником; в Империи времен упадка богатые, образованные люди увлекались эксцентричными восточными культурами. Он принял христианство, оно стало государственной религией, а потому обрело силу и непобедимость». Так пишут нередко. Но мы призовем еретиков, чтобы это опровергнуть.

Государственная религия действительно существовала, и она умерла не потому, что была государственной, ее убила истинная вера. Арианство в какой-то мере похоже на то, что проповедают сейчас: Христу отводится в нем странное, промежуточное место. Многим казалось, что это и понятнее, и либеральней. Ариане были, так сказать, людьми умеренными, чувствующими дух времени. Многие радовались, что наконец из мешанины первых дрызг выкристаллизовалась приличная религия, на которой вполне может успокоиться цивилизованное общество.

Ее принял и сделал государственной сам император; военачальники и воинская знать молодых варварских северных стран поддерживали ее. Поэтому особенно важно то, что случилось потом. Точно так же как наш современник-унитарий может легко стать полным агностиком, величайший из императоров-ариан отбросил последние притязания на христианство и сменил Ария на Аполлона. Он был кесарь из кесарей — воин, ученый, истинный философ на троне. Ему казалось, что по его знаку снова встало солнце. Заговорили оракулы, словно птицы запели на заре; вернулись языческие боги. Пришел конец странному, временному восточному суеверию.

Так оно и было — временное суеверие кончилось. Пришел конец причуде императора и моде поклонения. То, что началось при Константине, кончилось при Юлиане. Но кончилось не все. В тот час, бросив вызов народной суматохе Соборов, Афанасий встал против мира. Мы остановимся на этом подробнее, это очень важно, а сейчас перестали понимать, в чем тут соль. Люди просвещенные любят приводить как пример догматического крохоборства и мелочных сектантских споров вопрос о предвечности Сына.

Те же либералы вечно приводят как пример чистого, простого христианства, не испорченного догматическими спорами, слова: «Бог есть Любовь». Но ведь это одно и то же; во всяком случае, второе почти бессмысленно без первого.

Сухая догма — логическое выражение прекраснейшего чувства. Если безначальный Бог существует прежде всех, кого же любил Он, когда некого было любить? Если в немислимой вечности Он был один, что значат слова о том, что Он — Любовь?

Эту тайну можно объяснить только мистически: по-видимому, в Его природе есть что-то, подобное самовыражению; Он что-то породил и созерцал порожденное Им. Без этого поистине неразумно усложнять последнюю суть Божества такой идеей, как любовь. Если наши современники действительно ищут простую религию любви, пусть они обратятся к Никейскому Символу Веры. Трубный глас истинного христианства — весь мятеж, вся любовь, вся милость Вифлеема — звучал особенно громко и чисто, когда Афанасий бросил вызов холодному компромиссу ариан.

Это он сражался за Бога Любви против бога бесцветного далекого надзора, бога стойков и агностиков. Это он защищал Младенца Христа от серого божества фарисеев. Он бился за ту несравненно прекрасную связь, ту взаимную близость, благодаря которой Пресвятая Троица полна тепла и любви, как Святое Семейство.

Церкви снова, второй раз, пришлось встать против Империи, и это показывает, что в мире развивалось нечто очень весомое, личное и несовместимое с тем, что выбрала Империя. Сила эта разрушила без остатка официальную имперскую веру. Она пошла своим путем, идет им и теперь. Таких примеров много, и все было так же, как с манихеями и арианами. Через несколько веков, например, Церковь снова отстояла Троицу (то есть Любовь, если судить логично) против одинокого и упрощенного Бога мусульман.

Многие никак не поймут теперь, почему и за что сражались крестоносцы; многие даже считают, что христианство — разновидность так называемого «иудаизма», вошедшего в силу с упадком эллинизма. Сторонников этого взгляда, конечно, озадачит война Креста и Полумесяца.

Если в христианстве нет ничего, кроме простой морали и борьбы с многобожием, почему же оно не слилось с исламом? Потому что ислам был варварской реакцией на ту в высшей степени человеческую сложность, которая свойственна христианству: на то равновесие в Самом Боге, подобное равновесию в семье, из-за которого наша вера исполнена здравого смысла, а здравый смысл стал душой нашей цивилизации.

Церковь с самого начала пронесит свои взгляды сквозь моды и вкусы века. Она беспристрастно наносит удары и в ту и в другую сторону, бьет по пессимизму манихеев и по оптимизму пелагиан. Она не была манихейским движением, потому что вообще не была движением; она не была придворной модой, потому что не была модой. Она совпадала во времени с движениями и модами, но всегда умела обуздать их и пережить.

Великие ересиархи могут встать из могил, чтобы опровергнуть нынешних своих коллег. Новые не сказали ничего, что бы не оспорили те, давние. Вот кто-то бросит походя, что христианство — болезненная, чисто духовная, аскетическая реакция, пляска факиров, ненавидящих жизнь и любовь. Но Мани, великий мистик, возопит с тайного трона: «Не христианам говорить о духе! Они

— не аскеты, они пошли на сделку с бедствием жизни, с мерзостью брака. По их вине плоды, злаки и дети оскверняют землю. Эти безумцы обновили мир, когда я едва не прикончил его».

Другой напишет, что Церковь — лишь тень Империи, прихоть случайного тирана, висящий над современной Европой призрак Рима. Но Арий-пресвитер ответит из тьмы забвения: «Если бы это была так, мир принял бы мою, разумную веру. Ее сокрушили демагоги, не убоившиеся кесаря. Мой защитник облачался в пурпур, и меня славили орлы. Что-что, а это у меня было; но я погиб».

Третий скажет, что христианство — попросту панический страх перед вечными муками, бегство от мщения, агония самобичеваний; и это понравится тем, кому страшна наша вера. Но суровый голос Тертуллиана ответит: «Почему же отвергли меня? Почему, мягкосердечные глупые люди встали против меня, когда я провозгласил гибель всех грешников? Какая сила противилась мне, когда я грозил отступникам геенной? Но кто пошел по этому пути дальше меня и кто, как ни я, сказал; «Верю, ибо нелепо»?»

Четвертый предположит, что дух семитов-кочевников сокрушил удобное и уютное язычество, его города, его домашних богов, и ревнивое племя монотеистов навязало своего ревнивого Бога.

Но Магомет ответит из красного вихря пустыни: «Кто служил единому Богу ревностней, чем я? Кто подарил Ему такое одиночество в небе? Кто воздал больше почестей Аврааму и Моисею, кто сокрушил больше идолов? Какая же сила отбросила меня, словно содрогнулось живое тело? Чей фанатизм смел меня с Сицилии и вырвал мои крепкие корни из скал Испании? Во что верили воины всех стран и сословий, когда кричали, что моей гибели хочет сам Господь? Какая праща метнула Готфрида на стену Иерусалима, что удержало Собесского у ворот Вены? Не только единобожием была вера, которая так враждовала со мной».

Те, кто считают христианство узким и фанатичным, обречены на вечное удивление. Мы — аскеты и воюем с аскезой; мы — наследники Рима и воюем с Римом; мы монотеисты — и бьемся с монотеизмом. Загадку христианства не разрешишь, назвав его нелепостью. Если оно нелепо, почему же оно кажется разумным миллионам здравомыслящих людей, несмотря на все перемены без малого двух тысячелетий? Я нахожу одну разгадку: потому что оно не нелепо, а разумно. Если христиане — фанатики, они фанатично защищают разум, обличают глупость.

Только этим я могу объяснить, почему наша вера так свободна и так тверда, почему она не желает принимать помощи от сил, которые, на первый взгляд, важны для ее существования; почему так строга к идеям, которые, также на первый взгляд, очень близки к ней; почему знает все чаяния века и всегда умеет встать над ними; почему никогда не говорит того, что от нее ждут, и никогда не отказывается от своих слов.

Все это возможно только в одном случае: как Паллада из головы Зевса, она вышла из разума Господня целостной, зрелой, сильной, готовой к суду и битве.

Часть II, глава 5: Спасение от язычества

Современный миссионер с зонтиком и в шляпе из пальмовых листьев стал излюбленным предметом шуток. Мирские люди смеются и над тем, что его могут съесть дикари, и над тем, что он по своей узости считает дикарей ниже нас. Наверное, смешнее всего, что эти шутки оборачиваются против нас самих. Смешно спрашивать человека, готового к варке, почему он не верит в братство и равенство религий. Но миссионеру предъявляют и более тонкие обвинения.

Его упрекают в том, что он говорит о язычниках вообще, не обращая внимания на тонкие различия между Магометом и Мумбо-Джумбо. Раньше действительно было так, но теперь ученые возводят в ранг теологии каждую мифологию. Интеллектуалы принимают всерьез все едва уловимые оттенки безответственной азиатской метафизики. И ни те, ни другие, ни за что не хотят понять, что имел в виду Аквинат, проповедуя против языков, или Афанасий, проповедуя против мира,

Когда миссионер говорит, что христианин отличается от всех других людей, которых можно назвать общим именем «язычники», он совершенно прав. Он может, говоря это, испытывать совсем не христианские чувства, и тогда он нравственно неправ. Но философски, исторически он прав. Он может чувствовать неверно, но будет прав. Иногда он даже не имеет права быть правым, но он прав. Все оттенки того внехристианского мира, в который он несет свою веру, можно обобщить.

Вероятно, назвать его язычеством небезопасно, потому что при этом нелегко избежать лицемерия или гордыни. Лучше просто назвать его человечеством. У него есть свои свойства. Они совсем не обязательно плохие; многие из них заслуживают уважения христиан, многие из них восприняты и преобразены христианством. Но они существовали и существуют до христианства, как море существует до и вокруг корабля. И запах у них такой же сильный, неповторимый, как у моря.

Например, серьезные ученые, занимающиеся Грецией и Римом, согласны в том, что религия и философия были там отделены друг от друга. Однако ни у той, ни у другой, обычно не было желания, а может быть, и сил преследовать соперницу. Ни философ, ни жрец, по всей видимости, и не думали, что его воззрения объясняют весь мир. Жрец, принесший жертву Артемиде в Каледоне, не надеялся, по-видимому, что придет день, когда люди за морем будут поклоняться ей, а не Изиде; пифагореец не ждал, что его вегетарианство заменит повсеместно жизнь по Эпиктету или Эпикуру.

Если вам захочется, зовите это либеральностью; сейчас я не веду спора, я пытаюсь воссоздать атмосферу. Ее признают ученые. Но ни ученые, ни невежды не заметили, что это полностью применимо и к современному нехристианскому миру, особенно к великим цивилизациям Востока. Восточное язычество, как и язычество античное, несравненно более однородно, чем кажется нынешним ученым. Оно подобно многоцветному; персидскому ковру, как античность подобна римской мостовой; но мостовая эта треснула, когда земля сотряслась и камни рассеялись.

Современный европеец, отправляющийся за верой в Азию, приносит в Азию свою веру. Так человек, увидевший море, может подумать, что видит сушу. Волны покажутся ему горами, и он не поймет их особой устойчивости. Несомненно, в Азии много и достойного, и прекрасного, и весьма цивилизованного. Но религия там другая, она и больше, и меньше нашей. Там нет в помине тех четких этических делений, о которых мы думаем, называя Ирландию католической, а Новую Англию — пуританской. Состояние азиатской души несравненно более зыбко, относительно, переливчато, как окраска змеи.

Ислам ближе всего к воинствующему христианству. Мусульманский мир стоит между язычеством и Европой не только географически; в сердце Азии он как бы представляет душу Европы. Верно это не только в пространстве, но и во времени. С исторической точки зрения ислам — величайшая из восточных ересей. Чем-то обязан он одинокому и неповторимому духу Израиля, еще большим — Византии, богословскому пылу христиан. Он обязан кое-чем даже крестовым походам.

И меньше всего он обязан Азии, древнему миру традиций, окаменевшего этикета и бездонных, головоломных философий. Такой Азии он показался западным, угловатым, чужим; поистине, он пронзил ее, словно копье.

Пытаясь обвести пунктиром владения восточных религий, мы исходим из привычных европейских понятий, связанных с догмой и с этикой. Так, европеец мог бы решить, что американские штаты — государства, вроде Франции или Польши, и стал бы ждать патриотизма от жителей каждого штата. В Азии, конечно, есть убеждения, но там нет того, что мы имеем в виду, когда говорим: «Он — верующий», или «Он старается жить по-христиански», или «Это пламенный католик», или «Это строгий пуританин».

В мире мысли там все более расплывчато, разбавлено домыслами и сомнениями. В мире нравственности — менее прямо, несравненно менее строго. Один иранист, доводящий свое восхищение Востоком до презрения к Западу, сказал как-то моему другу: «Вам не понять восточной религии, потому что для вас религия связана с нравственностью. А там религия и нравственность не имеют ничего общего».

Кто не встречал адептов высшей мудрости, восточных святых и пророков, которые действительно не имели ничего общего с нравственностью? Чем-то совсем другим, какой-то безответственностью пропитана атмосфера Азии, даже мусульманской. Автор «Гассана» сумел очень точно передать ее — и нам действительно становится жутко. Еще сильнее этот привкус, когда нам удается увидеть в подлиннике древние азиатские культы. Глубже глубин метафизики и бездны медитаций лежит тайна неуловимого, жуткого легкомыслия.

То, что человек делает, не так уж важно. Потому ли, что они не верят в дьявола, или потому, что верят в судьбу, или потому, что земная жизнь важнее для них небесной жизни, они не такие, как мы. Я где-то читал, что в средневековой Персии прославились единомыслием три человека. Один стал ответственным и почтенным визирем султана, другой — поэтом Омаром, пессимистом и эпикурейцем, распивающим вино в пику Магомету, третий —

старцем, который одурманивал людей гашишем, чтобы им было легче убивать. Не так уж важно, что человек делает.

Султан из «Гассана» понял бы всех троих; он и был всеми тремя сразу. Но от столь универсального существа не следует ждать того, что мы зовем характером; оно ближе всего к тому, что мы зовем хаосом. Оно не может выбирать, оно не может бороться, оно не может раскаиваться, оно не может надеяться. Нельзя сказать, что оно творит, — ведь «творить» значит «отказываться». Пользуясь термином нашей веры, оно не строит своей души.

Наша доктрина спасения предполагает труд, подобный труду скульптора, ваяющего крылатую победу. Человек должен знать, к чему стремится. Статую не создашь, не жертвуя кусками камня. За всей метафизикой Азии лежит какая-то вненравственность. Еще ни разу за все бесчисленные века ничто не поставило человека перед выбором, ничто не возвестило ему, что пришло время выбирать. Разум слишком долго жил в вечности.

Душа была слишком бессмертна — ей неведомо понятие смертного греха. У нее было слишком много вечности, она не знает смертного часа или Судного дня. Вот что мы чувствуем, называя Азию старой. Но ведь Европа не моложе Азии; все места на свете одинаково стары. Однако, говоря так, мы чувствуем, что Европа не только старела, — она родилась заново.

Азия — это человечество в своей, человеческой судьбе. Величиной своей, множеством народов, высотой былых побед и глубиной темных раздумий она очень похожа на то, о чем мы думаем, когда говорим «весь мир». Она скорее космос, чем континент. Таков мир, созданный человеком, и в нем немало прекраснейших человеческих творений. Тем самым Азия — полноправный представитель язычества и единственный соперник христианства.

Там, где она перебралась на южные архипелаги дикарей, или там, где безымянные чудища кишат в загадочном сердце Африки, или там, где остатки погибших рас ютятся на холодном вулкане доисторической Америки, повторяется одно и то же, разве что иногда до нас доходят только последние главы. Люди блуждают в зарослях своих мифологий, тонут в море своих философий.

Политеистов утомили самые дикие фантазии, монотеистов — самые поразительные истины. Поклонники дьявола так ненавидят небо и землю, что пытаются укрыться в аду. Все это — грехопадение, падение человека. Именно это чувствовали наши предки, когда Рим склонялся к закату. Мы тоже шли вниз по этой дороге, по отлогому склону, в пышном шествии великих цивилизаций.

Если бы Церковь не явилась в мир, Европа, наверное, была бы теперь похожа на сегодняшнюю Азию. Конечно, кое в чем они бы различались — ведь народы и среда различались и в древности. Но античное язычество в последней своей фазе обещало стать неизменным в том самом смысле, в каком мы говорим о неизменной Азии. Должно быть, еще возникали бы новые философские школы, как возникают они на Востоке. Рождались бы истинные мистики — они есть и в Азии, и в античности. Создавались бы системы, уклады, кодексы, как в античности и в Азии.

Были бы хорошие, даже счастливые люди — ведь Господь наделил совестью каждого, а тот, кто идет путем совести, может обрести мир. Но удельный вес всего этого, соотношение добра и зла были бы в неизменной Европе такими же, как и в неизменной Азии. Если мы посмотрим честно и с настоящей симпатией на Восток, нам придется признать, что там нет ничего хотя бы отдаленно похожего на вызов и переворот веры.

Словом, если бы классическое язычество дожило до наших дней, многое дожило бы вместе с ним и очень походило бы на то, что мы зовем восточными религиями. Пифагорейцы, как индуисты, толковали бы о перевоплощении. Стоики, как конфуцианцы, учили бы разуму и добродетели. Неоплатоники, как буддисты, размышляли бы о потусторонних истинах, непонятных другим и спорных для них самих. Просвещенные люди поклонялись бы Аполлону, поясняя, что просто чтут высшее начало, как просвещенные персы, поклоняясь огню, чтут Высшее Божество;

Дионисийцы, как дервиши, предавались бы диким пляскам. Толпы стекались бы на пышные празднества, к их услугам были бы толпы богов — и местных, и чужеземных; гораздо больше людей поклонялось бы этим богам, чем верило в них. Наконец, очень многие верили бы в богов только потому, что это — бесы, и приносили бы тайные жертвы Молоху, как приносят тайные жертвы Кали. Было бы много магии, главным образом черной. Восхищение Сенекой уживалось бы с подражанием Нерону, как уживались изречения Конфуция с китайскими пытками. Все — и плохое, и хорошее — было бы слишком старо, чтобы умереть.

Но ничего подобного христианству мы не нашли бы. Мы могли бы говорить о религии пифагорейской, как говорим о буддийской. Мы могли бы слепить религию из благородных изречений Сократа, как лепим ее из изречений Конфуция. Мы могли бы назвать религией греческие мифы, потому что из них, как из мифов индийских, щедро черпает литература. Мы могли бы считать, что такую-то веру исповедует столько-то человек, и думать при этом просто, что все они живут в стране, где есть такие-то храмы. Но если мы назовем религией обрывки пифагорейских истин или миф об Адонисе, нам надо найти другое название для веры Христовой.

Если кто-нибудь уподобит Церкви философские максимы или храмы мифических богов, ответ будет прост. Ни одна из этих философий и мифологий не похожа на Церковь и совсем уж не похожа на Церковь Воинствующую. Исключение только подтверждает правило. Ислам отличается воинственностью, хотя он и не церковь, но этой чертой он обязан тому, что только он возник после христианства, другими словами, он — не языческий. Ислам — продукт христианства, если хотите — отход христианства. Он ересь или пародия, то есть подражание Церкви.

Ислам взял у христианства его боевой дух, и это ничуть не удивительно, как не удивительно, что квакерство взяло у христианства его миролюбие. Когда христианство пришло в мир, возникает много таких неполных подобию. Раньше их не было.

Воинствующая Церковь — одна, ибо это — армия, освобождающая мир. То рабство, от которого она хочет освободить его, можно очень хорошо увидеть в

Азии и в античной Европе. Я говорю сейчас не только о нравственности и безнравственности, хотя, конечно, у миссионеров гораздо больше оснований говорить о безнравственности язычников, чем думают просвещенные люди. Те, кто хоть раз соприкоснулся с Востоком, даже мусульманским, знают, какой поразительной бывает его нравственная бесчувственность; например, там нет границ между извращением и страстью.

Не предрассудки, а опыт учит нас, что Азия кишит не только богами, но и бесами. Но сейчас я говорю о зле, подтачивающем разум, когда он слишком долго действовал сам по себе. Я говорю о том, что бывает, когда все грезы и мысли ушли в безбрежную пустоту отрицания и неизбежности. Это может показаться свободой, на самом же деле это — рабство. Привычные толки о причине и следствии или о том, что все начинается и кончается в мысли, не дают душе рвануться, пойти куда-то, сделать что-то.

Это относится не только к Азии; это все относилось бы к Европе, если бы с ней ничего не случилось. Если бы Церковь не вышла в поход, мир просто отсчитывал бы время. Если бы она не подчинилась дисциплине, мы все томились бы в рабстве.

Что же принесла в мир эта непримиримая и принимающая всех религия? Она принесла надежду. Может быть, мифологию и философию объединяет только то, что обе они — печальны; в них нет надежды, хотя и бывают проблески веры, даже любви. Мы можем назвать буддизм верой, хотя я назвал бы его сомнением. Мы можем назвать сострадание Будды любовью, хотя она кажется мне очень унылой.

Но те, кто особенно настаивают на древности и популярности этих культов, должны признать, что за все века они не дали своим огромным странам практической, воинственной надежды. Из христианского мира надежда не уходила никогда; скорее можно сказать, что она часто ошибалась в выборе. Наши бесконечные перевороты и переустройства свидетельствуют о том, что у нас, по крайней мере, есть бодрость. Юность Европы много раз обновлялась; римские орлы взлетели над войском Наполеона, и мы видели сами серебряного польского орла.

Что до Польши, здесь сама революция связана с религией. Даже Наполеон искал примирения с верой. Веру нельзя отделить от самой дикой нашей надежды, ибо она — источник всех надежд. Почему это так, поймет только тот, кто знает, какова наша вера. Те, кто спорят о ней, не часто это понимают. Объяснить это полностью мне не по силам, да и места не хватит; но все же я попытаюсь сказать хоть немного.

Не будет конца утомительным спорам об освобождении от догм, пока люди не поймут, что вся наша свобода — в догме. Если догма невероятна, она невероятна потому, что немислимо свободна. Если догма иррациональна, она иррациональна потому, что такую свободу не может вместить разум. Прекрасный тому пример — так называемый вопрос о свободе воли.

В определенном смысле мы вправе сказать: «Если у человека есть свобода выбора — он наделен сверхъестественной творческой силой, словно тот, кто может воскрешать из мертвых. Возможно, это значит, что он — чудо; и впрямь,

быть человеком — чудо, особенно свободным человеком. Но нелепо отказывать ему в свободе во имя более свободной религии».

Это верно и во многих других вопросах. Всякий, кто верит в Бога, должен верить и в абсолютную Его власть. Но он может считать Господа и либеральным, и нелиберальным правителем. Само собой понятно, что Бог рационалистов либеральным быть не может, Бог догматиков — либерален. Превращая монотеизм в монизм, вы превращаете его в деспотию.

Неизвестный Бог с его темной целью и непререкаемым законом похож на прусского самодержца, чертящего точные планы в далекой палатке и управляющего людьми, как машинами.

Бог чудес и исполненных молитв похож на доброго, любимого народом царя, принимающего прошения, выслушивающего парламент и входящего в дело каждого из своих подданных.

Сейчас я не обсуждаю разумность такого представления; на самом деле оно далеко не так нелепо, как кажется многим, — нет ничего невероятного в мудрейшем и осведомленнейшем царе, который действует по-разному в зависимости от действий каждого из подданных. Здесь я просто хочу сказать, что нашей вере присущ дух свободы. И в этом смысле очевидно, что только своенравный король может быть милостивым. Католики, чувствующие, что их молитвы и впрямь что-то меняют в судьбе живых и мертвых, подобны свободным гражданам, скажем, конституционной монархии.

Монисты, живущие под железным законом, подобны рабам султана. Если я не ошибаюсь, слово *suffragium*, которое в наши дни связано с голосованием, в средние века было связано с молитвой за души чистилища. И если понимать это слово как право апелляции к Высшему Правителю, мы можем сказать, что общение святых и вся Воинствующая Церковь основаны на *suffragium universale*, на общем голосовании.

Но прежде всего и выше всего этот дух проявился в той трагедии, которой мы обязаны Божественной Комедией нашей веры. Сам король, сам царь служил простым солдатом. Если считать, что Он только человек, вся история становится несравненно менее человеческой. Исчезает ее суть, та самая, что поистине пронзила человечество.

Мир не намного улучшится, если узнает, что хорошие и мудрые люди умирают за свои убеждения; точно так же не поразит армию, что хорошего солдата могут убить. Смерть царя Леонида удивляет не больше, чем смерть королевы Анны. Люди не ждали христианства, чтобы стать людьми, даже в том смысле, в каком это слово равнозначно слову «герой».

Но если мы хоть как-то знаем человеческую природу, мы поймем, что никакие страдания сыновей человеческих и даже слуг Божиих не сравнятся с вестью о том, что хозяин пострадал за слугу. Это сделал Бог теологов, а не Бог ученых. Таинственному повелителю, прячущемуся в звездном шатре вдали от поля битвы, не сравниться с Королем-Рыцарем, несущим пять ран впереди войска.

Люди отвергают догму не потому, что догма плоха, а потому, что она слишком хороша. Она дарует слишком большую свободу, чтобы оказаться правдой. Она дает немислимую свободу, ибо человек волен пасть. Она дает небывалую свободу — сам Бог может умереть. Вот что должны были бы сказать просвещенные скептики, и я ни в малейшей степени не собираюсь возражать им. Для них мироздание — тюрьма, жизнь — сплошные ограничения; не случайно, говоря о причинной связи, они вспоминают цепь.

Они просто не могут поверить в такое счастье, но совсем не считают, что оно недостойно веры. Им кажется, что поверить в нашу свободу — все равно что поверить в страну фей. Мы вправе вполне буквально сказать, что истина сделала нас свободными. Человек со свободной волей немислим, как человек с крыльями. Человек, в чьей воле спросить Бога, и Бог, в Чьей воле ему ответить, невероятны, как белка из басни, беседующая с горой.

Такое сомнение и мужественно и разумно, и я уважаю его. Но я не могу и не хочу уважать тех, кто запирает в клетку птицу или белку, звякая железом и приговаривая, что мысли о свободе — вздор и заточение неизбежно, а затем как ни в чем не бывало провозглашает себя свободомыслящим.

Мораль всего этого очень стара: религия — откровение, религия — видение, которое дает наша вера; но видим мы правду. Вера в том и состоит; мы убеждены, что это — правда. Вот разница между видением и грезой. Вот разница между верой и мифом, между верой и теми выдумками — вполне человеческими, нередко здоровыми, — которые мы зовем язычеством.

Видение бывает редко, вероятнее всего, однажды и остается в душе навсегда. Грезить можно каждый день, и каждый день — по-разному.

Вера — не мифология; она и не философия. Видение — не схема, а картина. Этого никак нельзя сказать об упрощениях, сводящих все на свете к одной абстракции — «все течет» или «все относительно», «все неизбежно» или «все призрачно». Религия — не отчет, а повесть. Ее пропорции — пропорции картины и повести; в ней нет регулярных повторений схемы, зато она убедительна, словно повесть или картина. Другими словами, она «как жизнь». Она и есть жизнь.

Хороший пример тому — проблема зла. Нетрудно закрасить черным лист бумаги, оставив две-три незначительные белые крапинки, — так делают пессимисты. Нетрудно оставить бумагу белой, кое-как объяснив два-три случайных пятнышка, — так делают оптимисты. Легче всего, наверное, расчертить и раскрасить лист, как шахматную доску, — это уже дуалисты. Но все мы чувствуем в глубине души, что ни один из этих планов на жизнь не похож, что ни в одном из этих миров мы не живем и жить не можем.

Что-то подсказывает нам, что конечная идея мира не дурна и даже не нейтральна. Когда мы видим небо, или траву, или математическую истину, что там — даже свежеснесенное яйцо, смутное чувство охватывает нас, слабое подобие той истины, которую великий философ, святой Фома Аквинат, выразил так: «Всякое бытие как таковое — благо».

С другой стороны, что-то подсказывает нам, что недостойно, низко, даже нездорово сводить зло к точке или пятну. Мы чувствуем, что оптимизм еще мрачнее пессимизма. Если мы пойдем по следу этого смутного, но здорового чувства, мы решим, что зло — исключение, но исключение огромное; и наконец, мы назовем его узурпацией или, еще точнее, мятежом. Мы не подумаем, что все правильно, или что все неправильно, или что половина правильна, а половина — нет. Но мы подумаем, что правильное имеет право на правоту, тем самым на существование, неправильное прав не имеет. Зло — князь мира, но власть его незаконна.

Так мы нащупаем то, что видение даст нам сразу: повесть об измене в небесах, когда зло пыталось разрушить Вселенную, которую создать не умело. Это очень странная повесть, и ее пропорции, линии, цвета произвольны, как на картине. Мы и пытаемся воплотить ее в картинах, рисуя огромные руки и ноги, ярко-темные перья, и падающие в бездну звезды, и павлиньи доспехи тьмы. Но у этой повести есть преимущества перед схемой. Она — как жизнь.

Другой пример — так называемая проблема прогресса. Один из умнейших агностиков нашего времени спросил меня как-то: как я считаю, становится человечество лучше или хуже или не меняется? Он был уверен, что назвал все возможные варианты. Он не видел, что все это — отчеты и схемы, а не картина и повесть.

Я спросил его, как он считает, мистер Смит из Голдер-Грин стал лучше или хуже или же не изменился от тридцати до сорока лет? Тут он начал догадываться, что это зависит от мистера Смита, от его выбора. Он никогда раньше не думал, что путь человечества — не прямая линия, прочерченная вперед, или вверх, или вниз; он извилист, как след через долину, когда человек идет, куда хочет, и останавливается, где хочет, может пойти в церковь, может свалиться пьяным в канаву.

Жизнь человека — повесть, приключенческая повесть. То же самое можно сказать даже о жизни Бога.

Наша вера — примирение, потому что в ней свершаются и философия и мифология. Она — повесть, и от сотен повестей отличается только тем, что правдива. Она — философия, одна из сотен философий, только эта философия — как жизнь. Все философии, кроме нее, презирали здоровый инстинкт, породивший сказки. Вера оправдывает этот инстинкт, находит философию для него и даже в нем.

В приключенческой повести человек должен пройти через много испытаний и спасти свою жизнь; здесь он проходит испытания, чтобы спасти душу. И там и здесь свободная воля действует в условиях определенного замысла; и там и здесь есть цель, и дело человека — прийти к ней. Этот глубокий, человеческий, поэтический инстинкт презрели другие философии.

Все они кончались там, где начинались, а повесть потому и повесть, что конец ее — другой, чем начало. От Будды с его колесом до Эхнатона с его диском, от числовых абстракций Пифагора до Конфуциевой рутины — все они грешат, так или иначе, против законов повести. Ни одной из этих философий

неведома человеческая тяга к сюжету, к приключению, к поверке — словом, к испытанию свободной воли.

Каждая из них чем-нибудь да портит повесть человеческой жизни — то фатализмом (унылым или бодрым), то роком, на корню убивающим драму, то скепсисом, растворяющим и распыляющим действующих лиц, то узким материализмом, лишаящим нас эпилога, где сводятся все счета, то механической монотонностью, обесцвечивающей даже нравственный критерий, то полной относительностью, расшатывающей критерий практический.

Есть повесть о человеке, есть повесть о Богочеловеке, но нет повести гегельянской, прагматической, релятивистской или детерминистской. В каждой повести, даже в грошовом выпуске, найдется то, что принадлежит нам, а не им. Каждая повесть начинается сотворением мира и кончается Страшным Судом.

Вот почему не ладили мифы и философии, пока не пришел Христос. Вот почему афинская демократия убила Сократа из почтения к богам, а последами бродячий софист, воображая себя Сократом, презирал мифы; фараон-еретик низверг ради абстракции идолов и разрушил храмы, а жрецы победили его; буддизм отделился от брахманизма; и везде, всегда вне христианства отворачиваются друг от друга философ и жрец.

Нетрудно сказать, что философ, как правило, разумней; еще легче забыть, что жреца гораздо больше любит народ. Жрец рассказывает людям повести, философ их не понимает. Философия повести пришла в мир со Спасителем.

И потому наша вера — откровение, ниспосланное свыше. Истинную повесть о мире должен рассказывать кто-то кому-то. По самой своей природе повесть не висит в воздухе. Ее соотношения сил, ее неожиданные склонности и повороты не выведешь из отвлеченных, написанных кем-то правил. Математические выкладки не скажут нам, вернет ли Ахилл тело Гектора. И мы не узнаем, как обрести тело Христово, если нам сообщат, что все течет или все повторяется.

Эвклидовы теоремы может вывести человек, и не читавший об Эвклиде, но не создаст мифа об Орфее тот, кто о нем не слышал. Во всяком случае, он не угадает, удался ли Орфею его поход. Тем более не угадает он, как кончилась повесть о нашем Орфее, вернувшемся из царства мертвых не в горе поражения, а во славе.

Скажу снова, здравомыслие вернулось в мир и душа человеческая может спастись благодаря тому, что удовлетворены два желания, прежде спорившие друг с другом. Мифология жаждала приключений — и вот это повесть; философия жаждала истины — и вот эта повесть истинна. Идеальный ее герой должен быть историческим лицом, чего никогда не ждали от Пана или Адониса. Историческое лицо должно быть идеальным героем и выполнить многие его дела, потому Он и радость, и жертва, и лоза, и солнце.

Чем глубже мы вглядываемся в это, тем больше убеждаемся: если Бог есть, Его творению вряд ли пристала иная судьба. Если бы Он не дал миру этой истинно романтической повести, наш разум был бы и сейчас разделен на две части, как разделен мозг на два полушария — одна грезил бы о неммыслимом, другая повторяла бы бесконечные выкладки.

Художники писали бы ничьи портреты, мудрецы складывали бы числа, уходящие в никуда. Эту бездну могло заполнить только Воплощение, воплотившее в Боге наши мечты, а стоит над бездною тот, чье имя больше жреца и древнее христианства, Pontifex Maximus, самый лучший строитель мостов.

И снова мы возвращаемся к другому христианскому символу, к совершенному узору ключа. Очерк этот не богословский, а исторический, и в мои задачи не входит защита наших догм; я просто хочу показать, что их, как и ключ, нельзя принять, если не примешь во всех деталях. Я не собираюсь объяснять подробно, почему следует принять именно нашу веру.

Я просто объясняю, почему ее приняли и принимают, и отвечу тем самым на тысячи других вопросов: потому что она подходит к скважине, потому что она как жизнь. Она — один из многих рассказов, но так уж случилось, что этот рассказ правдив. Она — одна из многих теорий, но так уж случилось, что это — истина.

Мы приняли ее — и почва тверда под нашими ногами, и прямая дорога открывается нам. Наша вера не ввергает нас в темницу иллюзий или рока. Мы верим не только в немислимое небо, но и в немислимую землю. Это очень трудно объяснить, потому что это — правда; но можно призвать свидетелей. Мы христиане и католики не потому, что поклоняемся ключу, а потому, что прошли в дверь; и трубный глас свободы разнесся над странною живых.

Часть II, глава 6: Пять смертей веры

В этой книге я не собираюсь говорить подробно о том, что было с христианством дальше; тут начнутся споры, о которых я надеюсь написать еще где-нибудь. Я просто хочу показать, что наша вера, возникшая в языческом мире, была и сверхъестественной и единственной в своем роде. Чем больше мы о ней знаем, тем меньше находим ей подобий. Но все же в заключение я расскажу об одной ее черте, которая очень важна для наших дней.

Я уже говорил, что Азия и античность были слишком стары, чтобы умереть. О христианстве этого не скажешь. Христианский мир претерпел немало переворотов, и каждый приводил к тому, что христианство умирало. Оно умирало много раз и много раз воскресало — наш Господь знает, как выйти из могилы. Снова и снова переворачивалась Европа, и всякий раз в конце концов наверху оказывалась одна и та же вера. Она являлась в мир не как предание, а как новость.

Мы этого не замечаем, потому что от многих это скрыто условностями, которые тоже замечают редко, те же, кто их заметил, вечно их обличают. Нам твердят, что священники и ритуалы — не вера, а церковные сообщества — лишь форма, и не знают, как это правильно. Три или четыре раза, по меньшей мере, душа уходила из христианства, и почти все ожидали, что ему придет конец. Но и теперь и в старину как ни в чем не бывало жила та официальная религия, которую, к своей гордости, свободомыслящие видят насквозь.

Христианство оставалось религией вельможи времен Возрождения или аббата времен Просвещения, как античные мифы оставались религией Юлиа Цезаря, и даже арианство долго оставалось религией Юлиана Отступника. Но Юлиан отличается от Юлиа, потому что к его времени Церковь уже начала свой странный путь. Юлий спокойно мог поклоняться богам на людях и смеяться над ними дома. Но когда Юлиан счел христианство мертвым, он увидел, что оно — живое, и еще он увидел, что Юпитер никак не оживает. История Юлиана — только первый из примеров.

Я уже говорил, что, по всей видимости, суеверие Константина отмирало само собой. Оно прошло все обычные фазы, когда вера стала почтенной, затем — условной, и наконец — разумной, а рационалисты, как и сейчас, были готовы прикончить ее совсем. Когда христианство восстало и отбросило их, это было неожиданно, как воскресение из мертвых. Почти тогда же в других местах случалось почти то же самое. Когда, например, из Ирландии хлынули миссионеры, так и кажется, что молодежь неожиданно напала на старый мир и даже не стареющую Церковь. Многие из них погибли на берегах Корнуолла; и лучший знаток корнуоллских древностей говорил мне, что, по его мнению, их замучили не язычники, а «не очень ревностные христиане».

Если поглубже нырнуть в историю, мы найдем немало таких примеров. Равнодушие и сомнение опустошали христианство изнутри, и оставалась только оболочка, как в поздней античности оставалась только оболочка мифологии. Но всякий раз, когда отцы были «не очень ревностны», дети пылали огнем веры.

Это очевидно, когда Возрождение сменяется Контрреформацией. Это очевидно, когда Просвещение снова и снова сменяется христианством. Однако есть много других примеров, и стоит их привести.

Вера — не пережиток. Она живет не так, как жили бы друиды, если бы им удалось продержаться две тысячи лет. Так могло случиться в Азии и в античной Европе, ибо мифология и философия равнодушно терпели друг друга и друг другу не мешали. Вера не просто выжила, она непрерывно возвращалась в западный мир, который так быстро менялся, в котором все время что-то гибло.

Следуя традиции Рима, Европа всегда все переворачивала, перестраивала, строила заново. Сначала она непременно отбрасывала старый камень, кончала же тем, что ставила его во главу угла. Она откапывала его на свалке и венчала им здание. Одни камни Стоунхенджа стоят, другие — упали, а где камень упадет, там и ляжет. Вера друидов не приходит заново каждый век, ну, каждые два века, и молодые друиды, увенчанные омелой, не пляшут в лучах солнца на Солсбери-плейн. Стоунхендж не воссоздают в каждом архитектурном стиле, от грубой объемности норманов до причудливости барокко. Святыне друидов не грозит варварство воскрешения.

Церковь жила не в том мире, где все слишком старо, чтобы умереть, а в том, где все так молодо, что его можно убить. Если смотреть со стороны, сверху ее часто убивали; мало того, она часто выдыхалась и без этого. Отсюда следует то, что очень трудно описать, хотя это важно и более чем реально. Время от времени смертная тень касалась бессмертной Церкви, и всякий раз Церковь погибла бы, если бы могла погибнуть. Все, что могло в ней погибнуть, погибало.

Если такие сравнения уместны, я скажу, что змея сбрасывала кожу или кошка теряла одну из своих 999 жизней. Выберу более достойный образ: часы били — и ничего не случилось; колокол возвещал о казни — но ее снова откладывали.

Что значило смутное беспокойство XII века, когда, как очень верно сказали, Юлиан зашевелился во сне? Почему так рано, в самом начале рассвета, возник глубокий скепсис, способный породить номинализм? Видимо, потому, что Церковь уже считали не частью Римской империи, а частью Темных веков. Века эти кончились, как кончилась прежде Империя, и Церковь кончилась бы с ними, если бы она была лишь тенью ночи.

Победа номинализма, как и победа арианства, означала бы, что христианству пришел конец. Сомнение номинализма глубже, чем сомнение атеизма. Вопрос встал перед миром; каким же был ответ? Аквинат воссел на престоле Аристотеля, и многие тысячи юношей, от крепостного до вельможи, спокойно жили впроголодь, чтобы учиться философии схоластов.

Что значит страх перед исламом, который населил наши песни дикими образами сарацинов, победивших Норвегию и Шотландию? Почему обитателей дальнего Запада, скажем, короля Иоанна (если я не путаю), обвиняли в тайном мусульманстве, как обвиняют в тайном безбожии? Почему так встревожило богословов арабское переложение Стагирита?

Потому что сотни людей уже поверили в победу ислама. Они поверили, что Аверроэс разумнее Ансельма, что сарацинская культура хотя бы внешне выше, лучше нашей. Может быть, старшее поколение и усомнилось, и устало, и впало в отчаяние. Если бы Европу победил ислам, много раньше пришел бы унитарий. Как и сейчас, такая победа казалась разумной и возможной.

Как удивились они, наверное, тому, что случилось! Тысячи и тысячи юношей бросили свою юность в горнило крестовых походов. Сыновья святого Франциска, жонглеры Господни, пошли, распевая, по дорогам. Готика взлетела в небо тысячами стрел. Мир проснулся; и мы давно забыли, что альбигойские войны чуть не погубили Европу.

Мы забыли, что та философия была и модной и новой — пессимизм всегда нов. Она была очень похожей на наши модные учения, хотя и стара, как Азия; но ведь и они тоже. Вернулись гностики; почему же они вернулись? Потому что тогда тоже кончилась эпоха и должна была кончиться Церковь. Пессимизм навис над миром, манихеи восстали из мертвых, чтобы мы имели смерть, и имели ее с избытком.

Еще убедительней для нас пример Возрождения, потому что он ближе к нам и мы гораздо больше о нем знаем. Однако и здесь мы знаем далеко не все. Я намеренно не касаюсь религиозных распрей тех лет, я просто хочу напомнить, что они были совсем не так просты, как принято думать сейчас. Протестанты зовут мучеником Латимера, католики — Кампиона, но мы нередко забываем, что в те времена были мученики атеизма, анархии и даже сатанизма.

Мир XVI века был почти так же дик, как наш. Один утверждал, что Бога нет, другой — что он и есть Бог, третий говорил такое, чего Сам Бог не разберет. Если бы мы услышали беседу тех лет, нас, наверное, поразило бы ее кощунственное бесстыдство. Может быть, Марлоу и не говорил того, что ему приписывают, но такие речи характерны для интеллектуальных кабацких бесед его времени. Много странных вопросов поставили люди от начала Реформации до начала Контрреформации. В конце концов они получили все тот же ответ. Однако и в те годы христианство шло по воздуху, как некогда шел по водам Спаситель.

Но все это было давно. Хотя мы видим довольно четко, как язычество Возрождения пыталось прикончить христианство, нам гораздо легче увидеть тот упадок веры, что начался в веке Просвещения. Ведь он еще не кончился; мы сами воочию видим упадок того упадка. Двести последних лет не кажутся нам единым мигом, как IV и V или XII и XIII века. Мы знаем сами, как окончательно и полно утратило общество свою веру, не отменяя обрядов, как люди поголовно становятся агностиками, не смещая епископов.

И еще мы знаем, как случилось чудо — молодые поверили в Бога, хотя его забыли старые. Когда Ибсен говорил, что новое поколение стучится в двери, он и думать не мог, что оно стучится в церковные врата.

Да, много раз — при Арии, при альбигойцах, при гуманистах, при Вольтере, при Дарвине — вера, несомненно, катилась ко всем чертям. И всякий раз погибали черти. Каким полным и неожиданным бывало их поражение, мы можем убедиться на собственном нашем примере.

Чего только не говорят об Оксфордском движении и католическом возрождении во Франции! Но почти никто не говорит о самом очевидном их свойстве — полной неожиданности. Они поразили, более того, озадачили всех, словно река потекла вспять и даже вверх, в гору. Вспомните книги XVIII и XIX столетий. Всем было яснее ясного, что река веры вот-вот оборвется водопадом или, на худой конец, разольется дельтой безразличия. Даже спокойное ее течение показалось бы чудом, немислимым, как ведовство.

Самые умеренные люди не сомневались, что река веры, как и река свободы, разольется и обмельчает, если не высохнет совсем. Весь этот мир Гизо и Маколея, мир торговых и научных свобод ни минуты не сомневался, что знает, куда все движется. Направление было ясно всем, спорили только о скорости. Многие ждали с тревогой, некоторые — с надеждой, что бунтари-якобинцы не сегодня-завтра доберутся до архиепископа Кентерберийского или чартисты, взбунтовавшись, развесят англиканских священников на фонарях.

Но мир перевернулся; архиепископ не потерял головы — он обрел митру, а ненависть к пастору сменилась благоговейным почтением к патеру.

Словом, все спорили только о том, медленнее или быстрее течет река — и вдруг увидели, что вверх по течению что-то плывет. И как образ, и как факт это может беспокоить. Все мертвое плывет по течению, против течения может плыть только живое. Вниз по реке, гонимые просвещением и прогрессом, плыли демагоги и софисты; но даже те из них, которые еще не умерли, вряд ли доказывали, что они живы и животворны.

Несомненно, живым было огромное чудище, которое плыло вверх по реке, хотя многим оно и казалось чудищем доисторическим. Люди того века ощущали, что обряд так же нелеп, как морской змей, что митры и тиары — словно рога допотопных монстров, а ходить в церковь так же дико, как жить в пещере.

Мир до сих пор дивится чудищу, главным образом — потому, что оно все плывет и не тонет. Чем больше его ругают, тем непонятней оно становится. В определенном смысле я пишу эту книгу если не для того, чтобы объяснить, то для того, чтобы показать путь к объяснению; и прежде всего я хочу показать одно: так уже бывало, и не раз.

Да, в недавнее время мы видели, как умирает вера, но то же самое видывали люди много веков тому назад. И тогда, и сейчас это кончилось одинаково. Вера не исчезла; к нам возвращается даже то, что казалось давно утерянным. Снова, как и много раз, возвращается не «упрощенная» и не «очищенная» теология, а тот самый теологический пыл, которым отмечены века доктрины.

Старый добрый ученый с буквами Д. Т. после фамилии стал образцом педанта и символом скуки не потому, что страстно любил богословие, а потому, что богословие навело на него тоску. Латынь Плавта ему интересней, чем латынь Августина, греческий Ксенофонта — чем греческий Златоуста. Мы равнодушны к нему, потому что он сам — великолепный представитель религиозного равнодушия. Это совсем не значит, что люди бы остались

равнодушны, если бы им довелось увидеть дивное, диковинное зрелище — Доктора Теологии, Учителя Богословия.

Мы нередко слышим, что христианство может остаться как дух, как атмосфера. Поистине, многие хотели бы, чтобы оно осталось как призрак. Но оно не хочет. После каждой его смерти не тень встает, но воскресает тело. Многие готовы проливать благочестивые слезы над могилой Сына Человеческого, но они совсем не готовы увидеть, как Сын Божий идет по утренним холмам. Такие люди — а их немало — привыкли к мысли, что старый светильник блекнет в свете дня. Они видели сами, что он горел бледным пламенем свечи, забытой на рассвете.

Как же не удивиться, если семисвечник волшебным деревом вознесся к небу и солнечный свет показался бледным в сиянии его лучей? Но другие века тоже видели, как дневной свет становился ярче светильника, а потом разгорался светильник и становился ярче света. Много раз люди утоляли жажду неразбавленной водой, и много раз, неизвестно откуда, снова была струя чистого вина.

И вот мы говорим: «Много лет и веков тому назад наши предки верили, что пьют Кровь Господню. Потом, хотя и не скоро, вино католичества стало уксусом кальвинизма. Затем и это кислое питье развели водой забвения и скуки, и мы не надеялись снова ощутить терпкий вкус Лозы Виноградной. День за днем и год за годом слабели наши надежды и наша вера. Мы уже привыкли, что вода заливает виноградник и гибнет последний привкус истины, словно последняя капля пурпура тонет в сером море. Мы привыкли к разведенному, разбавленному, обесцвеченному христианству. Но Ты хорошее вино сберег доселе».

Вот что случилось на наших глазах, и это удивительней всего. Вера не только умирала — она умирала от старости. Она пережила не только гонения от Диоклетиана до Робеспьера — она пережила покой. Вряд ли стоит снова говорить о величии Крестной Муки, венчания молодости со смертью. Но когда я думаю о судьбе Церкви, другой образ является мне: так и кажется, что Христос умер стариком, а воскрес молодым.

Не раз и не без основания говорили, что Церковь часто венчалась с сильными мира сего; что ж, она часто вдовела. Враги говорили, что она — супруга кесарей, и это так странно сейчас, словно ее называли супругой фараонов. Говорили, что она супруга феодалов, но феодалов нет и в помине, а она здесь. Все мирское шло своим путем до естественного конца; казалось бы, тут кончиться и Церкви. Она и кончалась — но рождалась снова.

«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут». Античная цивилизация была целым миром, и представить землю без нее было не легче, чем представить землю без солнца. Она ушла, а слова эти живы. В долгие ночи Темных веков феодализм был привычен, так что человек помыслить себя не мог вне феодальной иерархии, и Церковь была туго вплетена в эту сеть.

Но феодализм разлетелся, вдребезги под напором народной жизни истинного средневековья — и самой новой, самой молодой силой была наша вера. Средневековый уклад — сложный, как мироздание, дом человека — тоже

пришел к концу, и тут уж каждому стало ясно, что слова отжили свой век. Но они пересекли сияющую бездну Ренессанса, и через полвека вспыхнули славой новых апологетов и святых.

Наконец, они поблекли в резком свете разума и, кажется, исчезли совсем в землетрясениях революций. Наука разоблачила их, но вот — они здесь. История погребла их в прошлом, они пришли к нам из будущего. Она снова на нашем пути; мы смотрим на них; они все ярче.

Если наше общество и предания его не оборвутся, люди, может быть, научатся применять разум к накапливающимся фактам. Раньше или позже враги веры сделают вывод из своих бесконечных разочарований и перестанут ждать ее смерти. Они могут бороться с ней, как борются люди с лесом, со стихией, с небом. «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут». Ждите, что она оступится; ждите, что она заблудится, но не ждите, что она умрет.

Сами того не зная, вы в своем ожидании подчинитесь условиям поразительного пророчества и приучитесь ждать не того, что угаснет неугасаемое, а того, что придет комета или охладает солнце.

Послесловие (краткое содержание этой книги)

Я взял на себя смелость раз или два позаимствовать прекрасное выражение — «Исторический очерк». Исследуя одну определенную истину и одну определенную ошибку, я нимало не пытаюсь соревноваться с многосторонней исторической энциклопедией, для которой выбраны эти слова. Однако связь тут есть. Историю, рассказанную Уэллсом, я могу критиковать только как очерк, ибо лишь очертания ее неверны.

Факты собраны замечательно, книга — просто клад, сокровищница, все в ней хорошо, кроме той самой линии, которая помогает отличить карикатуру на Уинстона Черчилля от карикатуры на сэра Алфреда Монда. Неверен абрис, неверны соотношения точного и неточного, важного и неважного, обычного и необычного, правила и исключения.

Это не мелкие придирки к крупному писателю, у меня нет причин придираться — сам я, замахнувшись на меньшее, погрешил ровно тем же. Я сильно сомневаюсь, что показал читателю истинные пропорции истории и объяснил ему, почему пишу так много об одном, так мало — о другом. Я не уверен, что выполнил все обещанное во вводной главе, и потому пишу главу заключительную.

Зато я верю, что описанное здесь важнее для абриса истории, чем опущенное. Я не верю, что цивилизация просто скатывается к варварству, религия — к мифологии, христианство — к религиозности. Словом, я не верю, что у истории нет очертаний, что они размыты.

По-моему, если уж выбирать, лучше рассказать древний миф или сказку о человеке, создавшем солнце и светила, или о боге, вдунувшем душу в священную обезьяну. Поэтому я сведу сейчас воедино то, что рассказывал насколько мог правдиво и разумно — краткую историю человечества.

В краю, освещенном светом звезды, есть много всяких предметов. Одни из них движутся, другие — нет.

Среди движущихся есть существа, которые по сравнению с другими поистине богоподобны. Этому ничуть не противоречит то, что порою они похожи скорее на бесов. Отличаются они от других не случайно, не иногда, как, скажем, белая ворона, а всегда, непременно, и это отличие лишь подчеркивают возражения и споры. Да, человек, бог здешнего мира, связан с ним многими связями — но это лишь другая грань той же истины. Да, он растет, как дерево, и движется, как животное, — но это лишь оттеняет различие.

Так можно сказать, что гном — совсем как человек или что феи пляшут ногами. Теперь принято обращать внимание только на такое сходство, забывая о главном. Принято утверждать, что человек — совсем как все прочие. Конечно, это так, но он один способен это заметить. Рыба не знает, что и у птицы есть позвоночник, страус и слон не сравнивают своих скелетов. Да, человек един со всеми существами, но сколько в его единстве одиночества!

Этот полубог или бес видимого мира обладает особым зрением, таким неповторимым, словно он один зажег свечу: благодаря ему мир становится видимым. Мир этот — не какой-то, а весьма определенный. Если судить на глаз, в нем есть закон, во всяком случае многое повторяется. Полубог видит зеленые здания, которые вроде бы никто не строит, но очертания их так четки, словно план начертан в воздухе невидимым перстом. Мир не зыбок, не расплывчат, он не похож на «слепую жизнь».

Все стремится к какой-то прекрасной цели, любой одуванчик, любая маргаритка. В самой форме вещей — не слепое развитие, но законченность, окончательность цветка. Кажется это или нет, это повлияло на странный род мыслителей и ремесленников, и очень многие из них решили — верно ли, неверно, — что у мира есть план, как вроде бы есть он у дерева; что у мира есть цель и венец, как есть они у цветка.

Пока мыслители умели мыслить, они выводили отсюда, что есть еще какое-то странное, невидимое существо — незнакомый друг, таинственный благодетель, который построил к их приходу леса и горы и зажег для них солнце, как слуга зажигает лампу или топит камин. Мысль о разуме, придающем смысл миру, укреплялась в разуме человека, ибо он много думал и много видел такого, что неуловимей и тоньше любых доводов.

Но сейчас я стараюсь писать попроще, даже поглубже, а потому скажу лишь, что большинство людей, включая самых мудрых, поверили в цель, тем самым — в первопричину мира. Однако мудрые понимали это по-одному, прочие — по-другому. И два эти пути составляют почти всю историю религий.

И большинство, и меньшинство остро ощущало, что все не так плоско и просто; что неведомый мастер ведаёт тайну мира. Но большинство, то есть народ, толпа, воспринимало это как сплетню. В сплетне всегда есть и ложь и правда. Люди сплетничали о неведомом, о его детях, вестниках, слугах.

Одни рассказы походили на бабушкины сказки, другие — на рассказы странника. Многие были правдивы — достаточно правдивы, чтобы здравомыслящий человек поверил, что за шторою мироздания кроется нечто чудесное. Что-то мелькало, но то были только отблески; что-то появлялось на миг — и скрывалось.

Такие боги — словно призраки, одним они мерещатся, другие слышат о том, что они примерещились кому-то. Большой частью слухи о богах сообщают не ради правды, а ради самой темы. Это — не свидетельства, это — мифы, ненапечатанные стихи.

Меньшинство отошло в сторону и занялось не менее интересным делом. Мудрецы и мыслители чертили план мироздания — им казалось, что они его знают. Разум их обращался прямо к разуму Мастера; они прикидывали, каким он должен быть и какая у него цель. Самые мрачные представили его враждебным и злым, самые падшие поклонились не богам, а бесам. Однако чаще всего мыслители были теистами и видели не только план мироздания, но и нравственный закон, предписанный людям.

Чаще всего это были хорошие люди, делали они благое дело и их помнили и почитали. Они писали, и писания их стали в некоей мере священными. Они творили законы, и законы эти стали весомыми, как предание. Можно сказать, что мудрецам воздавали божеские почести, как воздавали их царям или вождям. Всюду, где дух легенды и сплетни соприкасался с ними, он окружал их атмосферой мифа. Миф превращал мудреца в святого — и больше ничего.

Мудрец оставался человеком, все это помнили. Божественный Платон, как божественный кесарь, — титул, а не догма. В Азии, где атмосфера эта гуще, мудрец больше походил на миф, но оставался человеком — человеком особого рода, особой, почетнейшей профессии. Он был философом, он принадлежал к тем, кто всерьез пытается внести порядок в видимый беспорядок мира. Философы чертили план мироздания, словно оно еще не создано.

В самой сердцевине всего этого возникло чудовищное исключение. Оно окончательно, как трубный глас, но несет новую весть, слишком благую, чтобы в нее поверить. Люди услышали, что таинственный Создатель мира посетил этот мир; что совсем недавно на самом деле по миру ходил Тот, о Ком гадали мыслители и сплетничали мифотворцы.

Мы солжем, если скажем, что мудрецы или герои хоть в какой-то мере выдавали себя за него. Ни одна секта, ни одна школа не покушалась на это. Самые великие пророки называли себя Его глашатаями. Самые великие мистики говорили, что видели Его отблеск, а чаще — отблеск других, низших существ. Самые глубокие мифы сообщали, что мир сотворил Творец.

Но никто и помыслить не мог о том, что Творец ходит в гости, беседует с мелкими чиновниками, участвует в будничной жизни Римской империи и уж тем более что в это будет верить не одну тысячу лет великая цивилизация. Ничего более дикого человек не сказал с тех пор, как произнес первое слово. Такая весть отличается от всего человеческого, как слово отличается от лая, и саму ее неповторимость можно обернуть против нее. Нетрудно сказать, что это — безумие, но никакого толку не будет, разве что нелепица научных домыслов.

Мудрых философов, мифотворцев-поэтов и многих, многих других удивляет, что мы и сейчас ведем себя так, словно мы — вестники. Вестник не рассуждает и не спорит о том, какой могла бы быть его весть — он несет ее. Весть его — не теория и не вымысел, а факт. В этом заведомо поверхностном очерке я и не пытаюсь доказывать, что она — факт.

Я просто хочу обратить внимание на то, что вестники относятся к ней, как люди относятся к фактам. Все, за что упрекают католиков, — авторитет, упорство, воинственность всегда присущи людям, сообщающим о факте. Я хотел бы избежать в этом коротком послесловии сложных споров; они снова смазали бы четкие линии той повести, которую я назвал — слишком слабо, конечно, — самой странной в мире.

Но я хочу показать еще раз, как идут эти линии, а главное — где проходит граница. Христианство и другие религии не переливаются друг в друга, как тонкие оттенки мистицизма или разные типы мифологии. Граница проходит между теми, кто несет весть, и теми, кто о ней не слышал или в нее не верит.

Когда мы излагаем эту странную повесть на грубом и сложном языке нашего века, привычные названия и ассоциации вводят нас в заблуждение. Например, когда мы говорим, что в такой-то стране столько-то мусульман, мы хотим сказать, что в ней столько-то монотеистов, другими словами, столько-то людей, поверивших древнему ощущению. Они свидетельствуют необходимую и высокую истину, но ее никак нельзя назвать новой. Их вера — не новый цвет, а неопределенный фон многоцветной человеческой жизни.

Магомет, в отличие от волхвов, не открыл новой звезды — он увидел из своего окошка часть сероватого поля, залитого древним звездным светом. Когда мы говорим, что в стране столько-то буддистов или конфуцианцев, мы имеем в виду, что в ней столько-то язычников, получивших от мудрецов или мистиков другой, еще более смутный образ Неведомой Силы — не только невидимой, но и безличной.

Когда мы говорим, что у них тоже есть храмы, идолы, священство, праздники, это значит, что они люди и потому любят пышность, веселье, картинки и сказки; это просто означает, что язычники нормальнее пуритан. Но сущность их Высших Сил, но слова их священников ничуть не похожи на поразительную картину, которую несут наши вестники. Ни у кого, кроме этих вестников, нет Евангелия — Благовествования, Благой Вести, хорошей новости — по той простой причине, что у них нет новости.

И чем дальше, тем быстрее бегут вестники. Прошли века, а они говорят так, словно что-то случилось сейчас, на их глазах. Шаг их не стал медленней, взгляд их сияет, как взгляд свидетелей. В католической Церкви — армии вестников — не оскудевают дела святости; и самоотречения, решительные, как самоубийства, поражают мир.

Но это — не самоубийства. В них нет уныния. Вестники радостны, как святой Франциск, друг цветов и птичек. Они моложе духом, чем самые новые школы; и нет сомнения, что они стоят на пороге новых триумфов. Эти люди служат Матери, которая хорошеет с годами. Мы можем даже сказать, что Церковь молодеет, хотя стареет мир.

Вот последнее доказательство чуда: не чудесно ли, что столь естественными стали такие сверхъестественные вещи? Я очень хорошо отношусь к монотеистам — к мусульманам или евреям, но наша вера кажется им кощунством, способным покачнуть мир. Однако наш мир не покачнулся, он стал на место.

Я совершенно согласен с неверующими — от одной мысли о том, во что их просят поверить, может закружиться голова. Но у верующих голова не кружится, она кружится у неверующих. Они цепляются за любую крайность этики и психологии: за пессимизм, отрицающий жизнь, за прагматизм, отрицающий разум. Они ищут знаний в кошмарах и правил — в противоречиях. Они кричат от страха, потому что их обступили болезненные призраки и оглушили толки о жутких мирах, где дважды два — пять.

Только вера, которая на первый взгляд кажется самой немыслимой, остается твердой и здоровой. Она одна может смирить эти мании, спасти разум от прагматизма и смех — от пуританства. Я намеренно подчеркнул и вызов ее, и

суровость. Вся тайна в том, как такая — мятежная и предельная вера стала совершенно здоровой. Человек, назвавший себя богом, вполне подобен тому, кто считает себя стеклянным. Но стеклянный безумец не застеклил окон мироздания и не сияет так, что в его свете сияет все остальное.

Наше безумие сохранило здравый смысл. Оно сохранило его, когда все сошли с ума. В наш сумасшедший дом, век за веком, люди возвращаются домой. И мир не может понять, почему такая строгая и противная логике вера снова и снова дает самую большую радость.

Я не знаю, как могла бы высочайшая на свете башня так долго стоять без основания. Еще меньше могу я понять, как стала бы она человеку домом. Если бы она рухнула, ее вспоминали бы как последний взлет фантазии, последний миф, которым разум хотел пробить небеса — и пал. Но разум не сломлен. Только у нее одной не сломлен разум среди повального безумия.

Если бы она была ошибкой или приступом экстаза, она не продержалась бы и дня. Но она держится без малого две тысячи лет. У тех, кто в ее доме, ум яснее, душа уравновешеннее, инстинкты здоровей, они проще всех относятся к смерти и не боятся судьбы.

Душа христианского мира, порожденная немислимым Христом, — здравый смысл. Мы не смеем взглянуть на Его Лик, но мы видим Его плоды, и по плодам Его узнаем Его.

А плоды эти — весомые, и плодородие — не только метафора, и нигде в этом печальном мире нет таких счастливых мальчишек, взобравшихся на яблоню, и таких свободных мужчин, поющих на виноградниках, как у нас, в ослепительном свете вечной молнии.

Примечание:

Данный текст воспроизведен по изданию:
Честертон Г. К., Собр. соч.: В 5 т. Т. 5: Вечный Человек. Эссе / Пер. с англ.;
Сост. и общ. ред. Н. Л. Трауберг. — СПб.: Амфора, 2000.

HTML-версия книги доступна по адресу:
<http://www.chesterton.ru/everlasting-man/>

OCR – Вениамин Чукалов (<http://benjamin.tschukalov.info/>)